



ИСТОРИЯ ЭТОЙ ИСТОРИИ

28 февраля 1955 года стало известно, что восемь членов экипажа эскадренного миноносца «Кальдас» военно-морского флота Колумбии во время шторма в Карибском море упали за борт и пропали без вести. Судно вышло из Мобила (США) после капитального ремонта и направлялось в колумбийский порт Картахена, куда оно и прибыло точно по расписанию через несколько часов после этой трагедии. Немедленно приступили к поискам потерпевших. В них уча-

ствовали и военно-морские силы США, дислоцированные на Панамском канале, в чьи функции входят военный контроль и другая «благотворительность» в южной части Карибского бассейна. Через четыре дня поиски прекратились, и пропавших моряков официально объявили погибшими. Но вскоре один из них был найден полуживым на пустынной отмели на северном побережье Колумбии. Как выяснилось, он провел десять суток без еды и питья на дрейфующем плоту. Его звали Луис Алехандро Беласко. В моей беседе с ним и была воссоздана во всех подробностях история этого несчастья.

Ни Алехандро Беласко, ни я не предполагали, что наша попытка восстановить во всех деталях подробности происшедшего станет причиной новых зло-

ключений, в результате которых карьера Алехандро Беласко потерпела крах, а мне чуть не пришлось расстаться с жизнью. Колумбия находилась тогда под властью генерала Густава Рохаса Пинилья, достопамятная деятельность которого включает в себя два таких подвига, как убийство студентов в центре столицы, когда войска пулями разогнали мирную демонстрацию, и убийство тайной полицией так и не установленного числа поклонников корриды, осмивавших во время этого зрелища дочь диктатора. Печать была под строгой цензурой, и перед каждой оппозиционно настроенной газетой ежедневно вставала задача найти какую-нибудь политически безобидную, но интересную для читателей тему. В газете «Эль Эспектадор» ответственными за эту

С творчеством колумбийского писателя Г. Г. Маркеса советские читатели знакомы по рассказам, опубликованным в № 6 за 1969 год и № 11 за 1970 год журнала «Вокруг света», по роману «Сто лет одиночества» («Иностранная литература», 1970, № 6—8).

почетную работу были Гильермо Кано — директор, Хосе Сальгар — главный редактор, и я — штатный репортер. Среди нас не было никого старше тридцати лет.

Когда Луис Алехандро Беласко вдруг пришел к нам в редакцию и спросил, сколько мы можем заплатить ему за его рассказ, мы встретили его без энтузиазма: интерес к этой истории уже иссяк. Военные власти на несколько недель запрятали его в военно-морской госпиталь, и допускались к нему только репортеры, лояльные режиму. Из нелюбимых лишь одному удалось пробраться к нему, переодевшись врачом. Вся история, хотя кусками, но многократно публиковавшаяся, была искажена и подавалась в определенном освещении, и похоже, что читатели были уже по горло сыты этим героем, который теперь продавал свое имя для рекламирования часов — ибо его часы ходили исправно в ненастье, — и ботинок, которые он не смог разодрать, когда пытался съездить их, и тому подобного. Его наградили орденом и показали по телевидению как пример подрастающему поколению; он выступал с патристическими речами по радио, разъезжал по стране, встречаемый цветами и музыкой, всюду подписывая автографы, и его целовали королевы красоты. Он нажил даже небольшое состояние. Мы тоже долго искали встречи с ним, но теперь, когда он пришел сам, без приглашения, мы решили, что ничего нового он уже не скажет — если не выдумает чего-нибудь ради денег — и что власти наверняка дали ему определенные указания относительно его возможных выступлений. Мы отказали ему. Но вдруг, словно повинувшись какому-то голосу, Гильермо Кано догнал его на лестнице, принял предложение и поручил заняться им мне. Оказалось, что мне дали в руки бомбу замедленного действия.

Первое, что меня поразило в этом плотном двадцатилетнем парне, похожем скорее на трубача, нежели на героя отечества, так это его необыкновенный дар рассказчика, удивительная память и умение обобщать. И он был в состоянии подшучивать над своим геройством. По шесть часов ежедневно в течение двадцати дней мы беседовали с ним. Я вел запись беседы и задавал Луису Алехандро вопросы, построенные так, чтобы поймать его на противоречиях, если они

появятся в его рассказе, и нам удалось создать «густое» и правдивое повествование о его десятидневном дрейфе в открытом море. Рассказывал он так подробно и захватывающе, что мне как писателю оставалось одно — пожелать, чтобы читатели поверили его рассказу. Не только поэтому, но также потому, что это было справедливо, мы решили написать рассказ от первого лица и подписать его именем. Лишь теперь, в этом новом издании, повесть связана с моим именем.

Еще более приятный сюрприз ждал меня на четвертый день работы, когда я попросил Алехандро Беласко описать шторм, приведший к несчастью. Прекрасно сознавая всю важность того, что собирался заявить, он ответил с улыбкой: «Да никакого шторма и не было». Действительно, метеорологическая служба подтвердила, что этот февраль на Карибском море был обычным — тихим и безоблачным. Истина, нигде еще не опубликованная, заключалась в том, что судно дало внезапный крен на подветренный борт, и плохо закрепленный груз скользя в море и увлек с собой восемь моряков. Обнаружились три недопустимые вещи: во-первых, был нарушен запрет перевозить на военных судах какие-либо грузы; во-вторых, именно из-за своей перегруженности судно не смогло маневрировать, чтобы спасти людей; в-третьих, груз был контрабандного характера: холодильники, телевизоры, стиральные машины. Стало ясно: рассказ, подобно эсминцу, отягощен плохо закрепленным политическим и моральным грузом, о существовании которого мы не подозревали.

Вся история, разделенная на эпизоды, была опубликована в четырнадцать номерах газеты. Само правительство благословило вначале литературный дебют своего героя. Позже, когда уже всплыла истина, было бы политически глупо запретить публикацию последующих глав. Тираж газеты почти удвоился, и около здания редакции толпились люди, которые, чтобы иметь рассказ моряка полностью, покупали прошлые номера. Военная диктатура, следуя традиции всех колумбийских правительств, решила поправить правду риторикой: власти выступили с заявлением, в котором торжественно опровергались данные о перевозке эсминцем контрабандных товаров.

Изыскивая способ обосновать наши обвинения, мы попросили у Алехандро Беласко список товарищей по команде, у которых были фотоаппараты. Хотя многие из них были в отпуске и находились в самых различных уголках страны, нам удалось найти всех и купить у них фотографии, сделанные ими во время последнего плавания. Через неделю после опубликования повести частями она вышла в специальном приложении целиком, иллюстрированная фотографиями, приобретенными у моряков. На втором плане групповых фотографий, сделанных в открытом море, были хорошо видны — вплоть до фабричных марок — ящики с контрабандным товаром. Диктатура ответила на этот удар целым рядом репрессивных мер, завершившихся несколькими месяцами спустя закрытием газеты.

Несмотря на давление, угрозы и самые соблазнительные посулы, Луис Алехандро Беласко не отказался ни от одной строки своего рассказа. Он вынужден был оставить службу на флоте (все, что он умел делать) и вскоре был позабит и затерян в житейском море. Не прошло и двух лет, как диктатура пала и Колумбия оказалась во власти иных режимов, выступавших под новой вывеской, но ненамного более справедливых. Для меня же началась в Париже жизнь бродяги-изгнанника, временами тоскующего по родине, подобная жизни на плоту в открытом море. Долгое время никто не знал, что стало с злополучным героем, и только несколько месяцев тому назад один журналист случайно обнаружил его: Луис Алехандро Беласко сидел за конторским столом какой-то автобусной компании. Я видел его фотографии — он отяжелел и постарел, и чувствуется, что жизнь зацепила его глубоко, но оставила ему спокойствие героя, имевшего мужество взорвать собственную статую.

За прошедшие пятнадцать лет я не перечитал эту повесть ни разу. Я считаю ее вполне достойной публикации, хотя не вполне понимаю, с какой целью надо это сделать. Меня угнетает мысль, что издателей интересуют не столько достоинства произведения, сколько имя, каким оно подписано, а в данном случае, к моему большому сожалению, это имя модного сейчас писателя. К счастью, есть книги, которые принадлежат не тем, кто их напи-

сал, а тем, кто пережил написанное. Эта книга относится к их числу, и, следовательно, авторские права принадлежат тому, кто их заслужил: моему безвестному соотечественнику, которому пришлось прожить на плоту десять дней без еды и питья, чтобы стало возможным появление этой книги.

КАКИМИ БЫЛИ МОИ ТОВАРИЩИ, ПОГИБШИЕ В МОРЕ

22 февраля нам объявили, что скоро мы возвращаемся в Колумбию. Целых восемь месяцев пробыли мы в Мобиле, штат Алабама, пока обновлялись вооружение и электронная аппаратура нашего эскадренного миноносца «Кальдас». Одновременно мы, члены команды, получали специальный инструктаж, а свободное время проводили как все моряки на свете: ходили в кино со своими подружками, собирались в таверне «Джо Палука» и пили там виски, а иногда и скандалили.

Мою девушку звали Мэри Эддрес. Хотя испанский ей давался легко, она, кажется, так и не поняла, почему мои товарищи звали ее Мариа Диресон¹. Каждый раз, как мне давали увольнительную, я ходил с ней в кино, но она больше любила мороженое.

Только однажды я пошел в кино без Мэри — в тот вечер, когда мы смотрели «Мятеж на «Кайне». Кому-то из моих приятелей сказали, что это интересный фильм из жизни военных моряков, поэтому мы и пошли. Но больше всего нас взволновал шторм, а не события на тральщике. Все мы согласились, что в такую бурю есть один выход — изменить курс, что и было сделано мятежниками. Однако никто из нас в такой шторм еще не попадал, поэтому картина шторма больше всего взволновала нас в фильме. Когда мы возвращались на корабль, матрос Диего Веласкес, на которого фильм произвел очень сильное впечатление, сказал: «А что, если и с нами случится что-нибудь подобное?»

Признаюсь, фильм и на меня произвел впечатление. За восемь месяцев я совсем отвык от моря. Не то чтобы я очень боялся: нас учили, что нужно делать для спасения своей жизни в случае бедствия на море. И все-таки в тот

вечер после фильма я испытывал какое-то странное беспокойство. Не хочу утверждать, что уже предчувствовал катастрофу, но верно одно: никогда раньше предстоящее плавание не нагоняло на меня такого страха. В Боготе, когда еще мальчиком я видел море в книжных иллюстрациях, мне и в голову не приходило, что кто-то может погибнуть на море. Наоборот, я питал к морю большое доверие. И за время, что я служил на флоте, я ни разу не испытывал беспокойства.

И все же мне не стыдно признаться, что я, когда посмотрел фильм «Мятеж на «Кайне», почувствовал что-то очень похожее на страх. Лежа на своей койке — самой верхней, я думал о родном доме, о предстоящем рейсе и не мог заснуть. Подложив руки под голову, я слушал слабый шум моря и спокойное дыхание сорока моряков. Подо мной была койка Луиса Ренхифо, он храпел, точно дул в тромбон. Не знаю, какие он видел сны, но уверен, что он не спал бы так безмятежно, если бы мог предвидеть, что через восемь дней будет лежать мертвым на дне моря.

Беспокойство не оставляло меня всю неделю. День отплытия быстро приближался, и я искал уверенности в разговорах с приятелями. Эсминiec «Кальдас» стоял готовый к отплытию. Мы все чаще говорили о Колумбии, о родном доме, о наших планах. Мало-помалу корабль нагружался подарками для наших семей: в основном холодильниками, радиоприемниками, стиральными машинами и электроплитами. Я купил радиоприемник.

Я никак не мог отделаться от тревоги и твердо решил: как только попаду в Картахену, сразу попрошу отчислить меня из флота. Я не хотел больше подвергать свою жизнь опасности. В ночь перед отплытием я пошел проститься с Мэри, думая рассказать ей заодно о моих опасениях и о принятом решении, но ничего не сказал: я ведь обещал ей вернуться в Мобил. Единственным, кому я рассказал о своем решении, был мой друг старший матрос Рамон Эррера. Он признался мне, что тоже решил оставить службу на флоте, как только придет в Картахену. Мы с ним, да еще с Диего Веласкесом, отправились в таверну «Джо Палука» выпить на прощанье виски. Думали пропустить по стаканчику, но выпили пять бу-

тылок. Наши подружки тоже решили напиться и поплакать в знак благодарности. Руководитель оркестра, человек с серьезным лицом, в очках, и совсем не похожий на музыканта, исполнил в нашу честь несколько танго и мамбо, считая, что это колумбийская музыка. В ту последнюю неделю нам выдали тройное жалование, и мы решили гульнуть так, чтоб чертям тошно стало. Мне хотелось напиться, чтобы заглушить свое беспокойство, а Рамону Эррере — просто потому, что он был родом из Архоны и весельчак, хорошо играл на барабане и ловко подражал всем модным певцам.

Незадолго до нашего ухода из таверны к нам подошел американский моряк и попросил у Рамона Эрреры разрешения потанцевать с его подружкой — огромной блондинкой, которая меньше всех пила и больше всех плакала (и, надо сказать, совершенно искренне!). Американец попросил по-английски, и Рамон с силой оттолкнул его и сказал по-испански: «Ни черта не понимаю!»

Это была одна из лучших драк в Мобиле, с поломанными стульями, радиопатрулями, полицейскими — все как полагается. Рамон Эррера, которому удалось таки разделить американца как следует, вернулся на корабль к часу ночи, громко распевая песни в стиле Даниэля Сантоса. Он заявил, что плывет на эсминце в последний раз. Так оно и вышло...

24 февраля в три часа утра эскадренный миноносец «Кальдас» вышел из Мобила и взял курс на Картахену. Всех охватила радость в предвидении скорого возвращения. Старшина Мигель Ортега был особенно весел. Едва ли можно было сыскать на свете моряка благоразумней, чем старшина Мигель Ортега. За все восемь месяцев пребывания в Мобиле он не прокутил ни единого доллара. Все деньги он потратил на подарки жене, ожидавшей его в Картахене. В то утро, когда мы готовились к отплытию, старшина Мигель Ортега стоял на мостике и говорил, как обычно, о своей жене и детях — ни о чем другом он никогда не говорил. Он вез домой холодильник, стиральную машину, радиоприемник и электроплиту. Двенадцать часов спустя Мигель Ортега лежал на своей койке, умирая от морской болезни, а еще через девяносто часов он лежал по-настоящему мертвый на дне моря.

¹ По-испански — «адрес» (direccion).

ПРИГЛАШЕННЫЕ СМЕРТЬЮ

Когда судно отчаливает, раздается команда: «Все по местам!» Каждый остается на своем посту, пока корабль не выйдет из залива в открытое море. Я молча стоял на своем месте у торпедных аппаратов и смотрел на таявшие в тумане огни Мобила. Я не думал о Мэри. Я думал о морской пучине, о том, что на следующий день мы будем в Мексиканском заливе, а в такое время года это опасное место. До самого рассвета я не видел капитан-лейтенанта Хайме Мартинеса Диего — единственного офицера, погибше-

тахене его ждали жена и шестеро детей, но он знал только пятерых, потому что последний родился, когда мы были в Мобиле. До самого рассвета все протекало совершенно спокойно. Понадобился час, чтобы я снова свылся с плаванием на корабле. Огни Мобила растаяли в мягком тумане ясного утра, и на востоке показалось солнце. Беспокойство мое прошло, теперь я чувствовал только усталость. Давали себя знать ночь, проведенная без сна, и выпитое виски.

В шесть утра мы вышли в открытое море, и раздалась команда: «Всем отбой, пахтенный — по местам». Я сразу пошел

лучил диплом инженера и, когда ремонт эсминца «Кальдас» был закончен, приехал в Мобил и был зачислен в команду. Незадолго до отплытия он говорил мне, что, как только прибудет в Колумбию, первым делом займется переездом жены из Вашингтона в Картахену.

Так как Луис Ренхифо давно не плавал, я был уверен, что его укачает. В то первое утро нашего путешествия он спросил меня:

— Тебя еще не укачало?

Я ответил, что еще нет. Тогда он сказал:

— Через два-три часа у тебя вывалится язык.

— Посмотрим, у кого раньше, — сказал я.

И он ответил:

— Скорее море укачает себя, чем укачает меня.

Я лежал на койке и старался заснуть. И опять вспомнил о шторме, и снова ожили страхи прошедшей ночи. Я повернулся к Луису Ренхифо, уже совсем одетому, и сказал:

— Смотри, как бы твой язык не наказал тебя.



Рисунки В. ВАКИДИНА

го при несчастье. Это был высокий, крепкий и молчаливый человек, с которым я редко встречался. Знал только, что он родом из Толимы и слыл отличным человеком.

Зато я видел второго боцмана, высокого и подтянутого Амадора Карабальо. Он прошел мимо, взглянул на исчезающие огни Мобила и снова вернулся на свое место.

Никто из экипажа не радовался возвращению так шумно, как старший механик Элиас Сабогаль. Это был настоящий морской волк, небольшого роста, плотный, загорелый и большой любитель поговорить. Ему было лет сорок, и думаю, что большую их часть он провел в разговорах. Теперь у Сабогалья была особая причина для ликования: в Кар-

тахену его ждали жена и шестеро детей, но он знал только пятерых, потому что последний родился, когда мы были в Мобиле.

— Где мы плывем? — спросил меня Луис Ренхифо. Я ответил, что мы только что вышли в открытое море, а потом взобрался на свою койку и попытался заснуть.

Луис Ренхифо был стопроцентным моряком. Он родился в Чоко, далеко от моря, но море было его призванием. Когда «Кальдас» стал на ремонт в Мобиле, Луис Ренхифо еще не был членом нашей команды. Он жил в Вашингтоне и слушал курс лекций по оружейному делу. Это был серьезный, трудолюбивый парень, и по-английски он говорил не хуже, чем по-испански. Он женился в Вашингтоне на девушке из Санто-Доминго. по-

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ МОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА БОРТУ ЭСМИНЦА

«Мы уже в Мексиканском заливе», — сказал мне один из моряков, когда 26 февраля я пошел завтракать. Накануне я с беспокойством думал о погоде в заливе. Но эсминец, хотя его и покачивало, мягко скользил по воде. Я с облегчением подумал, что мои страхи неосновательны, и вышел на палубу. Вокруг были только зеленое море да синее небо. На полубаке сидел Мигель Ортега, бледный, совсем ослабший, и боролся с приступами морской болезни. Она началась у него раньше, когда еще были видны огни Мобила. Теперь он даже не мог стоять на ногах, а ведь он не был новичком на море. Мигель Ортега плавал в Корею на фрегате «Адмирал Падилья», много путешествовал и давно сроднился с морем. И вот, несмотря на спокойствие в заливе, он не мог без посторонней помощи нести вахту. Он был похож на умирающего, желудок его не принимал никакой пищи, и товарищи по вахте сажали его на корме или на полубаке, а с концом вахты отводили его в кубрик.

Кажется, это Рамон Эррера сказал мне поздно вечером 26-го, что на Карибском море нам придется туго. По нашим расчетам, мы должны были миновать Мексиканский залив после полуночи. Стоя на вахте у торпедных аппаратов, я предвкушал минуту, когда мы окажемся в Картахене, и заранее радовался. Ночь была ясная, и высокое круглое небо было густо усеяно звездами. На флоте меня потянуло к изучению карты неба, и теперь я с удовольствием искал созвездия и вспоминал названия звезд.

Думаю, что старый моряк, исколесивший весь свет, может по одной только качке корабля определить, в каком море он плывет. Мой собственный опыт подсказал мне, что мы уже в Карибском море — именно здесь началась моя служба на флоте. Помню, я взглянул на часы: была 31 минута первого 27 февраля. Если бы и не качало так сильно, я все равно узнал бы Карибское море. Но качало сильно. Обычно я хорошо переношу качку, но тогда что-то забеспокоилось. Меня охватило странное предчувствие, и, неизвестно почему, я представил себе Мигеля Ортегу там, на койке внизу, мучающимся от приступов тошноты.

В шесть утра волны качали эсминец как скорлупу. Луис Ренхифо не спал.

— Толстяк, — спросил он меня, — тебя еще не укачало?

Я ответил, что нет, но поделился с ним своими опасениями. Ренхифо — а он, как я уже сказал, был инженером, серьезным, трудолюбивым человеком и хорошим моряком — подробно объяснил, почему с эсминцем в Карибском море не может случиться ничего серьезного. «Это бывалый корабль», — сказал он и напомнил, что во время войны в этих самых водах «Кальдас» потопил немецкую подводную лодку.

НАЧИНАЕТСЯ ПЛЯСКА

Настоящая пляска началась в десять часов вечера. В течение всего дня «Кальдас» сильно качало, но не так, как в этот вечер 27 февраля. Я лежал без сна и с ужасом думал о тех, кто стоит на вахте. Я знал, что никто из моряков, лежащих на койках, не спит. Около полуночи я сказал Лунсу Ренхифо:

— Тебя еще не укачало?

Он не потерял чувства юмора и ответил:

— Я же сказал тебе, что море скорее укачает себя, чем укачает меня.

Он едва успел закончить фразу, которую так любил повторять.

Я уже говорил, что был встревожен, что чувствовал что-то похожее на страх. Когда же в полночь из громкоговорителей раздалась команда: «Всем стать на правый борт», — я впервые за два года плавания на эсминце испытал настоящий страх перед морем. Я знал, что означала эта команда: судно дает сильный крен на левый борт и надо попытаться хоть слегка выровнять его нашим весом. Наверху, где промокшие до нитки люди на вахте дрожали от холода, свистел ветер. Я быстро вскочил с постели. Луис Ренхифо не спеша встал на ноги и пошел к свободной койке по левому борту. Я вспомнил о Мигеле Ортеге.

Мигель Ортега не мог двигаться. Услышав команду, попытался встать, но тут же свалился. Я помог ему перебраться на другую койку. Слабым голосом он сказал, что чувствует себя очень плохо.

— Ничего, мы попросим, чтобы тебя освободили от вахты, — сказал я.

Легко рассуждать теперь, но, если бы Мигель Ортега остался лежать на койке, он не был бы сейчас мертв.

Так и не поспав, я и еще пятеро вахтенных в четыре часа утра 28 февраля собрались на корме. В пять тридцать я взял с собой юнгу и пошел осматривать днище корабля. В восемь я без всяких происшествий сдал свою последнюю вахту. А ветер все крепчал, волны вздымались все выше и разбивались о мостик, заливая всю палубу.

Со мной на корме находился Рамон Эррера. Был там и Луис Ренхифо — в наушниках, как член спасательной команды. На полубаке, где меньше чувствуется качка, сидел Мигель Ортега, по-прежнему изнемогая от своей болезни. Я поговорил немного с кладовщиком Эдуардо Кастильо — это был холостой и очень сдержанный парень родом из Боготы, не помню, о чем мы говорили с ним, но помню, что снова я увидел его несколько часов спустя, когда он уже тонул в море. Рамон Эррера собирал

листы упаковочного картона, чтобы накрыться ими и попытаться заснуть, — в спальном салоне спать было невозможно, и мы устроились среди ящиков с холодильниками, электроплитами и стиральными машинами, чтобы волна не смыла нас за борт. Я лежал на спине, смотрел на небо и чувствовал себя спокойнее и увереннее, считая, что через несколько часов мы будем в Картахене. Шторма как такового не было — только волнение. День был совершенно безоблачный, воздух прозрачный, а небо ярко-синее. После дежурства и ногам стало легче: я снял жавшие ботинки и надел туфли на каучуке.

МИНУТА БЕЗМОЛВИЯ

Луис Ренхифо спросил меня, который час. Было половина девятого. Вот уже час, как корабль глубоко зарывается в волну и опасно ложится на левый борт. Из громкоговорителей раздалась команда: «Всем стать на правый борт». Ни Рамон, ни я не двинулись с места: мы и так лежали на правом борту. В ту же минуту корабль дал страшный крен и провалился в водяную яму. У меня перехватило дыхание. Огромная волна с грохотом разбилась над нами и окатила с головы до ног. Медленно, тяжело раскачиваясь, эсминец выпрямился. Луис Ренхифо слегка поблел. Он сказал нервно:

— Что за черт! Это судно любит нырять и не хочет выныривать!

Я впервые видел Луиса Ренхифо встревоженным. Рамон Эррера лежал рядом со мной, лежал задумавшись. Какую-то минуту все молчали. Потом Рамон Эррера сказал:

— Как только прикажут рубить канаты и сбрасывать груз в воду, я начну первым.

Восемь часов сорок пять минут. Эсминец продолжал бороться с волнами, но его все сильнее втягивало в пучину. Рамон Эррера подтащил большой брезент, и мы накрылись. Новая волна, еще больше прежней, взметнулась над палубой, и я закрыл голову руками. Волна прошла. Загудели громкоговорители, и я подумал: «Сейчас прикажут рубить канаты». Но послышалась другая команда — спокойный и уверенный голос сказал: «Всем, кто на палубе, надеть спасательные пояса».

Луис Ренхифо взял наушники в левую руку, а правой не спеша надел спасательный пояс. Как бы вало после удара каждой большой волны, я сначала ощутил как бы пустоту внутри себя, а затем глубокую тишину. Я увидел, как Луис Ренхифо снова надел наушники. Тут я закрыл часы приблизительно с минуту. Рамон Эррера лежал неподвижно. «Сейчас, наверно, без десяти девять, а еще через шесть часов мы будем в Картахене», — подумал я. В следующую секунду корабль словно повис в воздухе. Я высунул руку из-под брезента, чтобы взглянуть на часы, но не успел увидеть ни часов, ни руки. Я и волны не увидел, только почувствовал, что палуба подо мной куда-то проваливается, а ящики с грузом двигаются. Я мгновенно вскочил на ноги и оказался по шею в воде. На короткий миг увидел перед собой позеленевшее лицо Луиса Ренхифо с вытаращенными глазами. Он держал наушники в вытянутой руке и пытался выбраться из воды. Тут вода накрыла меня с головой, и я начал грести руками вверх. Секунду, две, три я все выгребал вверх, стараясь всплыть. Я задыхался. Искал руками ящики, но кругом была только вода. Когда я наконец вынырнул, я не увидел ничего, кроме моря. Но через секунду, метрах в ста от меня, среди волн возник наш корабль. С него, точно с подводной лодки, потоками стекала вода. Только тогда я окончательно понял, что меня смыло волной.

ЧЕТВЕРО МОИХ ТОВАРИЩЕЙ ТОНУТ У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ

Вначале мне показалось, что я один среди моря. Держась на воде, я увидел издали, как еще одна волна захлестнула корабль, и он, ринувшись в глубокую пропасть, исчез. Я подумал тогда, что он пошел ко дну. И вскоре, как бы в подтверждение этому, вокруг появилось множество ящиков с эсминца. Они качались на волнах в беспорядочном танце. Я не мог сообразить, что происходит. Ошеломленный, я ухватился за один из ящиков и стал отупело разглядывать море. День был очень ясный. Кроме больших волн и разбросанных повсюду ящиков с товарами, ничто не говорило о случившейся трагедии.

Вдруг я услышал вблизи чьи-то крики. Сквозь пронзительный вой ветра я безошибочно узнал голос Хулио Амадора Карабальо, высокого и статного механика:

— Держись тут, за пояс!..

Я будто проснулся от глубокого сна, длившегося минуту. Я был не один на море: там, в нескольких метрах от меня, слышались голоса моих товарищей. Моя голова лихорадочно заработала. Куда-то плыть бессмысленно: мы в двухстах милях от берега, и я совсем утратил чувство ориентации. И все же я еще не испытывал особого страха. Я подумал, что вполне могу дождаться помощи, держась за ящик. Меня успокаивало и то, что рядом со мной в тех же условиях находятся и другие моряки.

И тут я увидел плот — точнее, два спасательных плота метрах в семи один от другого. Они появились неожиданно на гребне волны с той стороны, откуда доносились крики моих товарищей. Меня удивило, что никто из них не взобрался на плот. В следующую секунду один из плотов исчез. Я был в нерешительности, не зная, что делать — попытаться ли догнать впасть оставшийся плот или не рисковать и держаться за ящик. Но, еще не успев принять сознательное решение, я уже плыл к плоту. Плыл я минуты три. На какое-то время я потерял плот из виду, но старался держаться взятого направления. Внезапно плот подскочил на волне и очутился рядом со мной. Я вцепился в пенковую сеть и после нескольких попыток, уже совсем обессилевший, забрался на него. С трудом удерживая под бешеными порывами ветра равновесие, я выпрямился и увидел своих товарищей: они плыли к плоту.

Я сразу узнал их. Заведующий складом Эдуардо Кастильо ухватился за шею Хулио Амадора Карабальо, который на эсминце стоял на вахте и потому надел спасательный пояс. Он кричал теперь: «Держись крепче, Кастильо!» Они были метрах в десяти от меня, среди плывущих ящиков с товарами.

По другую сторону плыл Луис Ренхифо. Он снял с себя рубашку, чтобы легче было плыть, но при этом потерял спасательный пояс. Даже не видя его, я все равно узнал бы его по голосу. Он кричал мне:

— Толстяк, гребь сюда!

Я схватил весла и попытался

подгребсти к товарищам. Хулио Амадор и Эдуардо Кастильо приближались к плоту. Далеко позади них, маленький и отчаявшийся, виднелся четвертый из моих товарищей — Рамон Эррера. Он держался за ящик и махал мне рукой.

Если бы мне пришлось решать, кого спасти первым, я был бы в затруднении. Но, увидев Рамона Эррера — того самого, что устроил скандал в Мобиле, веселого парня из Архоны, который несколько минут назад лежал рядом со мной на корме, — я, не раздумывая, судорожно начал грести к нему. Но плот был очень тяжелый, плохо двигался в разбушевавшемся море, и грести, кроме того, надо было против ветра. Едва ли мне удалось продвинуться больше чем на метр. В отчаянии я снова огляделся вокруг. Рамона Эррера на поверхности моря уже не было.

Луис Ренхифо уверенно приближался к плоту. Я не сомневался, что он доплывет. Я не раз слышал его громкий, похожий на звук тромбона хрип под моею койкой и считал, что спокойствие этого человека окажется сильнее моря. Хулио Амадор все возился с Эдуардо Кастильо, который, казалось, вот-вот отпустит его шею. Они были уже в каких-нибудь трех метрах от плота. Я думал: пусть приблизятся еще немного, и я протяну им весло, но тут плот подбросило вверх на гигантской волне, и я увидел с высокого гребня мачту удаляющегося эсминца. Когда плот опустился, Хулио Амадор уже исчез вместе с Эдуардо Кастильо. Только Луис Ренхифо спокойно плыл к плоту. Он был уже в двух метрах от меня. Не понимаю, как мог я сделать такую глупость, зная, что грести бесполезно, я сунул весло вертикально в воду, желая остановить плот, пригвоздить его к месту. Луис Ренхифо, уже задыхаясь, остановился на секунду, поднял руку — как на эсминце, когда держал наушники, — и еще раз крикнул:

— Гребь сюда, толстяк!

Ветер дул от него мне в лицо. Я крикнул, что не могу грести против ветра, что ему надо сделать последнее усилие, но думаю, что он меня не услышал. Ящиков уже не было видно, и волны бросали плот из стороны в сторону. Был момент, когда плот отскочил от Ренхифо метров на семь, и я потерял его из виду.

Вскоре он появился в другом месте, все еще не потерявший надежды. Он нырял, стараясь пробить волну и не дать ей унести его. Я стоял с веслом в руках, готовый протянуть его, когда Ренхифо приблизится. И тут я заметил, что он обессилел и в отчаянии. Он крикнул снова, уже едва держась на поверхности:

— Толстяк!.. Толстяк!..

Я принялся грести, но усилия мои были напрасны; попытался дотянуться до него веслом, но его поднятая рука, та самая, которая всего за несколько минут до этого пыталась уберечь наушники от воды, навсегда ушла под воду в двух метрах от протянутого весла.

Трудно сказать, сколько времени простоял я, балансируя на зыбком плоту. Я всматривался в морские волны, ждал, что вот-вот кто-нибудь выплывет на поверхность. Но море было пустынным, и только ветер с остервенением трепал мою рубашку, завывая как бездомный пес. Вдалеке замаячила мачта эсминца «Кальдас». «Не утонул», — подумал я, и на душе у меня стало спокойней: я решил, что за мной скоро приплывут. Я думал также, что кто-нибудь из моих товарищей по несчастью мог добраться до второго плота. В этом не было ничего невероятного. Плоты эти, правда, не были оснащены, но их было шесть на эсминце, кроме шлюпок и вельботов. Кто-то мог доплыть до других плотов, думал я, и эсmineц, возможно, ищет нас.

Вдруг я обратил внимание на солнце — жаркое утреннее солнце с каким-то металлическим блеском. Все еще не вполне оправившись от потрясения, я взглянул на часы. Было девять часов ровно.

Мне казалось, что прошло уже много времени с той минуты, как случилось несчастье, но на самом деле, с тех пор как я смотрел на часы последний раз, еще на эсминце, и до того момента, когда я уже остался один на плоту — стоял в оцепенении, слушая пронзительный вой ветра, — прошло всего десять минут. Я подумал, что придется ждать два или три часа, прежде чем ко мне придет помощь. «Два или три часа», — подумал я, и мне показалось, что время это слишком велико, чтобы можно было провести его одному в пустыне моря. Есть и

пить было нечего, и я представил себе, что к полудню жажда делается невыносимой. Но я решил не отчаиваться. Солнце начинало обжигать стянутую морской солью сухую кожу. Фуражку я потерял при падении, и сейчас, смочив голову, я сел на широкий борт плота и стал ждать.

Только тогда я почувствовал боль в правом колене. Жесткие форменные брюки намокли, и мне стоило немалых усилий подвернуть их повыше. Когда колено обнажилось, меня передернуло: под коленной чашечкой зияла глубокая рана в форме полумесяца. Не знаю, ударился ли я об обшивку корабля или о ящик, когда падал в воду. Помню только, что боль я почувствовал, когда уже сидел на плоту, и, хотя рана слегка горела, она была совершенно сухая — наверно, от морской соли. Не зная, чем заняться, я произвел инвентаризацию наличных вещей. Я хотел знать, чем располагаю, оставшись в одиночестве посреди моря. Впервые, у меня были часы. Они шли нормально, и я не мог удержаться, чтобы не посмотреть на них каждые две-три минуты. Еще было золотое кольцо, купленное в прошлом году в Картахене, и медальон на цепочке с девой Марией дель Кармен, купленный у другого моряка за 35 песо. В карманах оказались только ключи от моего шкафчика на эсминце и три рекламных проспекта одного из мобильных магазинов. Их дали мне, когда мы с Мэри Эддрес что-то там покупали. Чтобы убить время, я стал читать эти проспекты. Не знаю почему, но я представил себе, что это зашифрованное письмо из тех, что запечатывают в бутылку и бросают в море, когда терпят кораблекрушение. И думаю, что, оказавшись в это время у меня бутылка, я бы сунул в нее один из этих проспектов, чтобы поиграть в Робинзона и потом иметь возможность рассказать моим приятелям что-то забавное.

К двум часам дня ветер стих. Так как вокруг простиралась только водная гладь да чистое небо и ориентироваться было не на что, то прошло более двух часов, прежде чем я почувствовал, что плот движется. Но плот, конечно, с самого начала двигался по прямой, подгоняемый ветром, и с такой скоростью, что в безветрии с помощью весел я бы

двигался медленнее. Однако у меня не было никакого представления о том, куда я плыву — к берегу или от берега. Последнее казалось мне более вероятным, ибо я считал, что море никогда не выбросит на берег что-нибудь оказавшееся за 200 миль от земли и тем более человека на тяжелом плоту. Первые два часа я пытался рассчитать в уме возможно точнее путь эсминца. Я решил, что если с эсминца телеграфировали в Картахену, то дали точные координаты места катастрофы и оттуда уже послали самолеты и вертолеты, чтобы спасти потерпевших бедствие. Я прикинул, что через два часа они уже будут кружиться над моей головой. Ровно в 12 часов дня я сел на борт плота и стал внимательно всматриваться в горизонт. Я снял весла и положил их на середину плота, чтобы быстрее приспособить их как потребуется, когда появятся самолеты. Потекли долгие и напряженные минуты. Солнце обжигало лицо и плечи, губы горели от морской соли. Но ни голода, ни жажды я не чувствовал. Мне нужно было только одно — поскорее увидеть самолеты. Я уже все обдумал: как только они появятся, я наложу весла и начну грести по направлению к ним, а когда они будут надо мной — встану на ноги и начну махать рубашкой. Чтобы быть совсем готовым, чтобы не потерять ни одной минуты, я расстегнул рубашку и продолжал сидеть, поворачивая голову, чтобы наблюдать все стороны горизонта, так как я не знал, с какой стороны должны появиться самолеты.

В полдень ветер все еще завывал, и в этом вое мне слышался голос Луиса Ренхифо: «Толстяк, греби сюда!» Я слышал его совсем отчетливо, будто он был рядом, в трех метрах от плота, и пытался достать до весла рукой. Я знал, что, когда на море поднимается ветер и волны разбиваются о прибрежные скалы, бывает, что человеку слышатся в этом шуме знакомые голоса. И мне слышалось навязчиво, до упомошательства: «Толстяк, греби сюда!»

В три часа я начал нервничать. Знал, что в этот час эсmineц уже стоит на причале в Картахене и мои товарищи скоро разберутся, счастливые, по всему городу. Потом мне представилось, что все они думают обо мне, и это вернуло мне бодрость духа. Я приготовился терпеливо

ждать до четырех дня. Если допустить, что не телеграфировали, если даже сразу не заметили, что люди упали за борт, — все равно должны были заметить это потом, во время швартовки, когда вся команда выстроится на палубе. Это могло быть самое позднее в три, и, конечно, сразу же сообщили бы о случившемся. Как бы ни замешкались на аэродроме, через полчаса самолеты будут уже в воздухе. Так что к четверть часам, самое позднее — к половине пятого они должны появиться надо мной. Я продолжал наблюдать за горизонтом, пока не утих ветер. Когда он утих, меня окутал глухой шум моря, и тогда я перестал слышать крики Луиса Ренхифо.

Сначала мне казалось, что невозможно выдержать три часа одиночества среди моря. Но в пять дня, когда уже протекли целых восемь часов, я почувствовал, что могу подождать еще один час. Солнце, склонявшееся к закату, сделалось большим и красным. Теперь я мог ориентироваться и знал, с какой стороны

я могу ждать появления самолетов. Повернувшись так, чтобы солнце было от меня справа, я стал смотреть прямо перед собой, не отрывая взгляда от точки горизонта, за которой, по моим расчетам, была Картахена. В шесть часов у меня заболели глаза, но я по-прежнему не отрываясь смотрел вперед. Даже когда стало смеркаться, я упрямо продолжал смотреть. Я знал, что теперь самолетов видно не будет, но я увижу приближающиеся зеленые и красные огни, увижу их прежде, чем шум моторов дойдет до моего слуха. Мне хотелось увидеть эти огни, и я забыл о том, что заметить меня в сумерках с самолета не смогут. Как-то вдруг небо стало красным, а я все смотрел на горизонт; потом стало темно-фиолетовым, а я все так же смотрел. По другую сторону плота, точно желтый бриллиант на небе цвета вина, засияла первая звезда, казавшаяся квадратной. Это было как сигнал, и темная, плотная ночь сразу накрыла море.

Когда я осознал наконец, что меня окутала тьма, что я едва

могу разглядеть собственную вытянутую руку, мне показалось, что мне не справиться с охватившим меня отчаянием. Теперь, оказавшись во мраке ночи, я понял, что не был столь одиноким в дневные часы. По-настоящему одиноким я почувствовал себя в темноте, на плоту, которого я не видел, а только чувствовал под собой, глухо скользящем в густой воде моря, населенной странными существами. Я посмотрел на светящийся циферблат моих часов. Было без десяти семь. Когда мне показалось, что прошло часа полтора или два, я снова посмотрел на часы: было без пяти семь... Наконец, минутная стрелка добралась до цифры двенадцать — наступило ровно семь часов вечера, и небо было густо усыпано звездами. Но мне казалось, времени прошло столько, что уже пора было наступить рассвету. И я все еще думал о самолетах...

Продолжение следует

Перевел с испанского
ДИОНИСИО ГАРСИА



Габриэль
Гарсиа Маркес

Десять дней на плоту в Карибском море



МОЯ ПЕРВАЯ НОЧЬ В КАРИБСКОМ МОРЕ

Мне стало холодно. Невозможно оставаться сухим на таком плоту. Даже когда сядешь на борт, ноги остаются в воде, потому что днище из сети, провисая, уходит в воду почти на полметра. В восемь часов вечера в воде было теплее, чем на воздухе. Я знал, что, лежа в воде на середине плота, я был бы в безопасности, отделенный от морских животных прочной сетью. Но этому учат в морской школе, и этому только там веришь, когда инструктор демонстрирует все на небольшой модели, а ты сидишь на скамье в два часа дня среди сорока своих товарищей. Но когда ты один посреди моря, ночью, потерявший надежду, сло-

ва инструктора кажутся совсем бессмысленными. Я знал одно: ноги мои погружены в чужеродный мир морских животных, и, хотя рубашку мою трепал холодный ветер, я не смел оставить борт плота. По словам инструктора, это самое ненадежное место на плоту, и все же только там я был дальше всего от тех громадных, неведомых существ, которые, я ясно слышал, тайно проплывали мимо.

В эту ночь я не сразу нашел Малую Медведицу, затерянную в чаще бесчисленных звезд. Казалось, что на всем просторе неба невозможно найти ни одной пустой точки. Но когда я все же нашел Малую Медведицу, никуда больше смотреть мне уже не хотелось. Глядя на нее, я чувствовал себя не таким одиноким. В Картахене, когда получали увольнительную, мы сходились

ночью на мосту Манга, и Рамон Эррера пел что-нибудь, подражая Даниэлю Сантосу, а кто-нибудь аккомпанировал ему на гитаре. Сидя на каменном парапете, я всегда видел Малую Медведицу у склона горы Серро де ла Проа. И в ту ночь, когда я сидел на борту плота и смотрел на небо, мне представилось на минуту, будто я на мосту Манга, будто рядом со мной сидит Рамон Эррера и поет под аккомпанемент гитары, и будто Малую Медведицу я вижу не в двухстах милях от берега, а у склона Серро де ла Проа. Я думал также и о том, что, быть может, в Картахене кто-то еще тоже смотрит на Малую Медведицу, и это скрашивало мое одиночество.

В течение всей этой первой ночи ничего не произошло, и, вероятно, от этого ночь была особенно длинной. Трудно описать ночь,

проведенную на плоту, если ничего не произошло, если был только страх перед морскими животными и были часы со светящимся циферблатом, на которые невозможно не смотреть каждую минуту. В течение моей первой ночи на плоту я смотрел на часы чуть ли не каждую минуту. Это была настоящая пытка. Я решил: чтобы меньше зависеть от времени, надо снять часы и положить их в карман. Когда я уже больше не мог терпеть и снова посмотрел на часы, было без двадцати девять. Есть и пить еще не хотелось, и я почувствовал, что вполне в состоянии дожидаться следующего дня, когда прилетят самолеты. Но вот часы, казалось мне, могут свести с ума. В отчаянии я снял их с руки и хотел положить в карман, но мне пришло в голову, что лучше будет бросить их в море. Я не мог решиться, а потом испугался: без часов я буду еще более одиноким. Я снова надел их на руку и стал смотреть на циферблат не отрываясь, так же как днем смотрел до боли в глазах в одну точку на горизонте.

После двенадцати мне уже хотелось плакать. Я не заснул ни на минуту и даже не пытался заснуть. С той же надеждой, с какой вечером ожидал увидеть самолеты на горизонте, я всю вторую половину ночи искал огни кораблей. Долгие часы я вглядывался в ночное море, спокойное, необъятное, тихое, но не видел никаких огней, отличных от мерцания звезд. В предсветные часы стало холоднее, и казалось, что все мое тело излучает жар солнца, накопленный в течение дня под кожей. От холода оно только сильнее горело. После двенадцати начало болеть правое колено, да так, точно соленая вода проникала до самых костей. И однако, все это было где-то далеко. Не о теле своем я думал, а об огнях кораблей. И думал: если в этом бесконечном одиночестве, в этом глухом шуме волн покажутся огни корабля, я крикну так, что меня услышат на любом расстоянии.

На море рассветает не так медленно, как на суше. Небо побледнело, начали исчезать звезды, а я все переводил взгляд с часов на горизонт и обратно. Стали смутно видны контуры моря. Нельзя было поверить, что ночь продолжается столько же,

сколько и день, и нужно провести ночь на плоту посреди моря, неотрывно следя за стрелкой часов, чтобы убедиться в том, что ночь бесконечно длиннее дня. Но когда вдруг начинает светать, ты чувствуешь такую усталость, что почти не видишь рассвета.

Так было со мной в ту первую ночь на плоту. Когда стало светать, мне уже было все равно. Я не думал ни о еде, ни о питье, не думал ни о чем до тех пор, пока ветер не стал теплее, а поверхность моря не стала золотистой и гладкой. Я не спал всю ночь, но в этот миг почувствовал себя проснувшимся. Я растянулся на плоту, и кости мои заняли. Кожа тоже болела. Но утро было сияющее и теплое, и теперь, при свете дня, в мягком дуновении ветра, я почувствовал, что еще способен ждать. И я уже не был одиноким человеком на плоту, и в свои двадцать лет я впервые почувствовал себя совершенно счастливым.

Плот продолжал свое движение, но вокруг все оставалось неизменным, как будто я не двигался с места. В семь часов я подумал об эсминце. Там было время завтрака. Представил себе моряков, сидящих за столом. Они ели яблоки. Потом подадут яичницу. Потом мясо. Потом кофе с молоком. Рот наполнился слюной, и желудок свела судорога. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я погрузился на сетчатое дно плота в воду по шею. Вода омыла обожженную спину, и я почувствовал себя здоровым и полным сил. Я долго пролежал там в раздумье, спрашивая себя, зачем я пошел на корму с Рамон Эррерой, а не остался лежать на своей койке. Я воссоздал в уме, минута за минутой, все подробности трагедии и решил, что вел себя крайне глупо и совершенно случайно оказался жертвой. Я подумал, что мне просто не везет, и от этого сразу стало как-то тоскливей. Но я взглянул на часы и успокоился. Время шло быстро: было уже полдвенадцатого.

Близился полдень, и я вновь вспомнил о Картахене. «Не может быть, чтобы мое исчезновение прошло незамеченным», — думал я. Я даже стал жалеть о том, что забрался на плот; мне представилось, что мои товарищи были спасены, и по вине плота, который отнесло в сторону ветром, я единственный оставшийся в море — мне просто не повезло...

Эта идея еще не успела оформиться до конца, когда мне показалось, что я вижу на горизонте какую-то точку. Я стал на ноги, не сводя глаз с этой движущейся черной точки. Было без десяти двенадцать. Я смотрел с таким напряжением, что небо заискрилось светящимися точками. Но черная точка продолжала двигаться прямо на меня. Через две минуты я уже хорошо различал ее форму. Двигаясь по сверкающей синеве неба, она вспыхивала иногда слепящим металлическим блеском. Уже болевала шея, а глазам трудно было вынести свет неба, но я смотрел не отрываясь: летящий предмет шел точно по направлению к плоту. В эту минуту я не почувствовал себя безмерно счастливым, меня не охватила неистовая радость. Глядя на приближающийся самолет, я ощущал только необыкновенную душевную легкость и спокойствие. Я снял не спеша рубашку. Мне казалось, что я точно знаю, когда именно нужно подать знак. Минуты две я ждал с рубашкой в руке, чтобы самолет приблизился. Он шел прямо на меня. Когда я поднял руку и начал махать рубашкой, я уже явственно различал гул его моторов, перекрывающий шум волн.

У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ СПУТНИК...

Я отчаянно махал рубашкой в течение по крайней мере пяти минут. Но скоро увидел, что ошибся: самолет летел вовсе не к плоту. Он пролетел в стороне, и на такой высоте, с которой невозможно было меня заметить. Потом он развернулся, полетел в обратном направлении и стал теряться на горизонте в том самом месте, откуда появился. Я так и остался стоять на плоту, под палящим солнцем, и смотрел, ни о чем не думая, на удаляющуюся черную точку, пока она не растаяла на горизонте. Тогда я сел. Я почувствовал себя несчастным, но надежды не терял и решил как-то защититься от солнца. Я лег на широкий борт лицом вверх и накрыл голову мокрой рубашкой, но старался не заснуть на борту, зная, как это опасно. Я подумал о самолете, и теперь у меня уже не было полной уверенности, что он искал меня.

Тогда, лежа на борту, я впервые испытал пытку жажды. На-

чинается с того, что густеет слюна и сохнет глотка. Было сильное искушение выпить морской воды, но я знал, что это только повредит. Позже можно будет попить ее немного. Внезапно я позабыл о жажде. Там, над моей головой, покрывая шум волн, раздался звук самолета. Окрыленный, я вскочил на ноги. Этот самолет приближался оттуда же, откуда первый, и летел прямо на меня. Когда он пролетал над мной, я снова замахал рубашкой. Но он был слишком высоко. Пролетев мимо, он исчез из виду. Потом он повернул обратно, и я увидел его сбоку. Он летел туда, откуда появился. «Вот теперь явно ищут меня», — подумал я и сел с рубашкой в руке, ожидая новых самолетов.

Мне стало ясно: самолеты появляются и исчезают в одной и той же точке — значит, там земля. Я знал теперь, куда надо направить плот. Но как? Сколько бы плот ни прошел за эту ночь, до берега, наверно, было еще очень далеко. Да и долго ли смог бы я грести, когда от голода у меня в желудке начались спазмы? Особенно же мучила жажда. Даже дышать становилось все труднее.

В 12 часов 35 минут неожиданно появился огромный черный гидросамолет. Он с ревом пронесся над моей головой. Сердце так и подскочило у меня в груди. Я совершенно ясно увидел человека, высунувшегося из кабины и наблюдавшего море в черный бинокль. Самолет пролетел так низко, в такой близости от плота, что мне показалось, будто я всем телом ощутил биение его моторов. Я легко опознал его по знакам на крыльях: это был самолет береговой охраны зоны Панамского канала. Он улетел, но я не сомневался, что человек с черным биноклем видел, как я махал ему рубашкой. «Меня заметили!» — крикнул я, все еще махая рубашкой, и начал прыгать, обезумев от радости.

Не прошло и пяти минут, как опять появился тот же черный самолет. Теперь он летел в противоположном направлении, но на той же высоте. Он летел с креном на левое крыло, и в кабине я вновь увидел того же человека с биноклем в руках. Я замахал рубашкой, теперь уже спокойно, словно приветствуя своих спасителей. По мере приближения са-

молет стал постепенно снижаться. Некоторое время он летел по прямой, почти касаясь воды. Я решил, что он приводняется, и приготовился грести к нему, но вскоре он набрал высоту, развернулся и в третий раз пролетел над мной. Я подождал, пока он окажется над моей головой, и несколько раз махнул рубашкой. Я ждал, что он еще ниже пролетит над плотом, но произошло обратное — он быстро набрал высоту и скрылся в направлении земли. Но я больше не беспокоился: я был уверен, что меня заметили. Не могло быть, чтобы меня не заметили, когда пролетали так низко над самым плотом. Успокоенный, почти счастливый, я сел на борт и стал ждать.

Прошел час. Я сделал важный вывод: в той стороне, откуда появились первые самолеты, несомненно, была Картахена, а там, где скрылся черный самолет, была Панама. Я рассчитал, что если плыть по прямой, лишь слегка отклоняясь от направления ветра, то можно добраться до берега где-то около курорта Толу.

Я ждал, что не позже чем через час меня спасут. Но час прошел, и ничего не произошло. Вокруг все то же синее, чистое и совершенно спокойное море. Прошло еще два часа. И еще час, и другой. А я все сидел неподвижно, наблюдая за горизонтом. В пять часов вечера солнце начало клониться к закату. Я все еще не терял надежды, но уже начал беспокоиться. Я никак не мог понять, отчего они так тянут с моим спасением. Горло совсем пересохло, дышать становилось все труднее. Я глядел в забытых на линии горизонта, как вдруг, сам еще не зная почему, подскочил и прыгнул в середину плота. Не спеша, как бы подстерегая добычу, у борта проплыла акула.

Это было первое живое существо, которое я увидел за тридцать три часа плавания на плоту. Плавник акулы на поверхности моря всегда вызывает ужас: всем известна прожорливость этого хищника. Но внешне нет ничего более безобидного, чем плавник акулы. Совсем непохоже, что это часть тела животного, тем более такого хищного. Он темно-зеленый и шероховатый, как кора деревьев. Я глядел, как плавник огибает плот, и мне представилось, что на вкус он, должно быть, терпкий и сочный, как сте-

бель растения. Наступил шестой час. Вечернее море было спокойное. Теперь у плота была уже не одна акула. Быстро стемнело, и я уже не видел их, но мне казалось, что они движутся вокруг, разрезая водную гладь лезвиями своих плавников. С этих пор я уже не решался садиться на борт после пяти вечера. Следующие дни показали, что акулы очень пунктуальны: они всегда появлялись в начале шестого и исчезали с наступлением ночи.

К вечеру прозрачная вода представляет собой красивейшее зрелище. Плот окружают рыбы всех цветов радуги. Там были огромные желто-зеленые рыбы, рыбы, украшенные синими и красными полосами, и другие, круглые маленькие рыбешки. Они сопровождали плот, пока не становилось совсем темно. Иногда, словно сверкнет металлическая молния, взметнется струя окровавленной воды, и на поверхности остаются ненадолго куски перекушенной акулой рыбы. И тогда несметное множество более мелких рыб набрасывается на эти объедки.

Начиналась моя вторая ночь среди моря, ночь голода, жажды и отчаянья. После растаявшей надежды на самолеты я чувствовал себя совершенно покинутым. Только в ту ночь я наконец понял, что рассчитывать я могу только на свою волю и силы. Одно меня удивляло: я чувствовал некоторую слабость, но не чувствовал себя истощенным. Прошло более сорока часов с тех пор, как я пил и ел в последний раз, и более двух суток с тех пор, как я спал, ибо я не спал последнюю ночь перед трагедией, и все-таки я чувствовал, что вполне могу взяться за весла.

Я нашел Малую Медведицу, сориентировался и решил грести. Дул бриз, но не совсем в том направлении, какое было нужно мне, чтобы двигаться, ориентируясь на Малую Медведицу. В десять часов ночи я установил весла и начал грести. Сначала я греб лихорадочно, торопясь, потом стал грести спокойнее, ни на миг не выпуская из поля зрения Малую Медведицу, которая, по моим расчетам, сияла точно над Серро де ла Проа. По плеску воды я почувствовал, что плот движется вперед. Уставая, я скрещивал весла и клал на них голову, чтоб отдохнуть, а потом вновь брался за них с новыми силами и новой надеждой. В полночь я все еще продолжал грести.

К двум часам ночи я совершенно обессилел, скрестил весла и попытался заснуть. К этому времени жажда стала мучить еще сильнее. Голода я не ощущал, но чувствовал себя таким усталым, что положил голову на весло и приготовился умереть. Тогда-то и увидел я матроса Хайме Манхарреса. Он стоял на палубе эсминца и показывал мне пальцем в сторону порта. Хайме Манхаррес, родом из Боготы, был одним из самых старых моих флотских друзей. Я часто думал о товарищах, пытавшихся догнать плот, думал о том, удалось ли им взобраться на второй плот, подобрал ли их эсминец или самолеты. Но о Хайме Манхарресе я не вспомнил ни разу. Тем не менее стоило мне сомкнуть веки, как он возник передо мной и, приветливо улыбаясь, показывал пальцем в направлении порта; потом я видел его сидящим в столовой, с фруктами и тарелкой яичницы в руках.

Вначале это был просто сон. Я закрывал глаза, засыпал ненадолго, и он неизменно появлялся. Наконец я решил заговорить с ним. Не помню, что я ему сказал и что он ответил, но хорошо помню, что мы беседовали с ним на палубе эсминца, когда вдруг ударила роковая волна и я проснулся, подскочив, и судорожно уцепился за веревочную сеть, чтобы не упасть в море...

К рассвету небо стало темнее. Я не мог спать — у меня не было сил даже для этого. В непроглядном мраке я уже не мог разглядеть противоположный конец плота, но я все смотрел туда, стараясь пробить темноту взглядом. И вдруг я увидел на другом конце борта Хайме Манхарреса. Он сидел в синей рабочей форме и в фуражке, слегка сдвинутой на правое ухо. На ней, несмотря на полный мрак, можно было ясно прочитать: А. R. С. «CALDAS».

— Здравствуй, — сказал я, ничуть не удивившись, уверенный, что там действительно сидит Хайме Манхаррес и что он сидел там все время. Я бодрствовал, сознание мое было ясным, и я слышал свист ветра над головой и шум моря, и я ощущал голод и жажду. Одним словом, у меня не было никакого сомнения в том, что Хайме Манхаррес плывет со мной на плоту.

— Почему ты не наполнил воды на эсминце? — спросил он.

— Потому что мы приближались к Картахене, — ответил

я. — Я лежал на корме вместе с Рамоном Эррерой.

Для меня это не было галлюцинацией. Я совсем не боялся. Я только недоумевал, как я мог чувствовать себя одиноким и как мог не знать, что со мной на плоту плывет еще другой человек.

— Почему ты не поел? — спросил Хайме Манхаррес.

Я прекрасно помню свой ответ:

— Потому что мне не дали. Я просил яблок и мороженого, и мне отказали. А я не знал, куда все спрятали.

Хайме Манхаррес ничего не ответил, немного помолчал, а потом опять показал рукой в сторону Картахены. Я посмотрел, куда он показывал, и увидел огни порта, буй гавани, качающиеся на волнах.

— Мы уже близко, — сказал я и продолжал напряженно смотреть на далекие огни без волнения, без особенной радости, как при обычном возвращении. Я предложил Хайме Манхарресу погresti вместе немного. Но его уже не было. Он исчез. Я сидел один на плоту, и огни порта были первыми лучами солнца. Первыми лучами моего нового, третьего дня на море.

ВИЖУ КОРАБЛЬ!

Вначале я вел счет дням, отмечая в них главные события: первый день, 28 февраля, — день катастрофы. Во второй день прилетали самолеты. Третий день был самым томительным: не произошло ничего примечательного. Плот двигался, подгоняемый бризом. У меня не было сил грести. Небо заволкло тучами, стало прохладно, и теперь, без солнца, я уже не мог ориентироваться и не знал, с какой стороны могут появиться самолеты. Что касается плота, то он ведь четырехугольный — нет ни носа, ни кормы. Он может плыть в любую сторону, незаметно вращаясь, и если нет ориентира, то невозможно узнать, движется ли он вперед, к земле, или в противоположную сторону. А море одинаково со всех сторон... Бывало, я ложился на заднем борту, по отношению к движению плота (то есть на «корме»), и накрывал лицо рубашкой. Когда вставал и оглядывался вокруг, то плот уже двигался так, что я оказывался лежащим на переднем борту — на «носу». В таких случаях я не мог узнать, изменил ли плот свое направление или же просто по-



Рисунки В. ВАКИДИНА

вернулся вокруг своей оси. Нечто подобное случилось на четвертые сутки и с подсчетом времени.

В полдень я сделал две вещи: во-первых, вставил весло на од-

ном из бортов, чтобы знать, как будет двигаться плот. Во-вторых, я нацарапал ключами на борту черточки, по одной за каждый прошедший день, и поставил числа. Нацарапал первую черту и поставил цифру 28. Нацарапал вторую и написал 29, а против третьей черты — 30. Это была ошибка: было не тридцатое февраля, а второе марта. Я сообразил это лишь на четвертые сутки, когда стал вспоминать, сколько дней было в прошедшем месяце — 30 или 31. И я вспомнил, что это был февраль, и хотя теперь мне самому смешно, но эта ошибка спутала мое представление о времени. На четвертый день я уже не был вполне уверен, правильно ли веду счет дням. Три дня прошло? Или четыре? А может, пять? Судя по черточкам, прошло три дня, но я не был в этом уверен — точно так же, как не был уверен, в каком направлении двигаться плот. Я решил оставить все как есть, чтобы не запутаться еще больше. От всего этого я совсем потерял надежду на спасение.

Уже четверо суток я ничего не ел и не пил. Трудно было собраться с мыслями — ни о чем не хотелось думать. Обожженная кожа покрылась волдырями и нестерпимо горела. Инструктор военно-морской базы учил нас, что ни в коем случае нельзя подставлять спину солнечным лучам. Это стало одной из моих главных забот. Я снял с себя мокрую рубашку и обвязал ее вокруг пояса — она слишком раздражала кожу. Я был без воды уже четвертые сутки, и дышать становилось физически трудно — я чувствовал острую боль в горле, в груди и под ключицами. Я решил выпить немного соленой воды. Морская вода не утоляет жажду, но она освежает. Я не пил так долго морскую воду потому, что знал: второй раз надо выпить ее еще меньше и много часов спустя.

Каждый день в начале шестого с удивительной пунктуальностью появлялись акулы. Вокруг плота начиналось пиришество. Огромные рыбы выпрыгивали из воды и через секунду оказывались растерзанными в куски. Обезумевшие акулы стремительно прорезали окровавленную воду. Они еще ни разу не пытались разбить плот, но своим белым цветом он привлекал их внимание. Всем известно, что акулы часто набрасываются на белые

предметы. Они близоруки и хорошо видят только белое или блестящее. Инструктор предупреждал нас: надо прятать все яркие вещи, чтобы не привлекать акул. Никаких ярких вещей у меня не было. Даже циферблат моих часов был черный. Но я чувствовал бы себя спокойнее, если бы имел с собой какие-нибудь белые предметы, чтобы бросить их подальше от плота, когда акулам вздумается перевернуть его. На всякий случай, начиная с четвертого дня, я всегда после пяти вечера держал весло наготове, чтобы защищаться от акул.

Ночью я устраивал весло под себя поудобнее и старался заснуть. Не могу сказать, случилось ли это только во сне, но каждую ночь я видел перед собой Хайме Манхарреса. Мы беседовали недолго о чем-нибудь, и затем он исчезал. Скоро я привык к его посещениям. При свете дня я понимал, что это, должно быть, галлюцинации, ночью же не было никакого сомнения, что Хайме Манхаррес сидит там, на противоположном борту, и говорит со мной. А на рассвете пятого дня он тоже, как и я, пытался заснуть. Он молчал и клевал носом, пристроившись на другом весле, но вдруг встрепенулся и стал пристально всматриваться в морскую гладь, а потом сказал мне: — Смотри!

Я поднял глаза и увидел километрах в трех от плота огни, то вспыхивающие, то гаснущие, которые могли принадлежать только кораблю. У меня уже давно не было сил грести, но, увидев огни, я встал и крепче ухватился за весла. Корабль медленно скользил вперед, и на мгновение я увидел не только огни мачты, но и тень от нее, скользящую по воде.

Ветер оказывал сильное противодействие. Несмотря на отчаянные усилия, я, кажется, не смог ни на один метр изменить направление плота, сносимого ветром. Огни все больше отдалялись. Я покрылся испариной и почувствовал страшную слабость. Через двадцать минут огни исчезли совершенно. Звезды стали угасать, а небо посерело. Опутошенный, один среди бесконечного моря, я оставил весла, встал на ноги и несколько минут кричал как безумный...

Когда показалось солнце, я опять лежал на весле. Я был

в полном изнеможении. Теперь уж я потерял всякую надежду на спасение, и мне хотелось умереть. Но странное дело: при мысли о смерти я тут же вспоминал о грозившей мне реальной опасности, и неизвестно откуда у меня появлялись силы.

На пятый день я решил, что надо во что бы то ни стало заставить плот изменить направление. Мне взбрело в голову, что, если я буду все время двигаться по ветру, я непременно приплыву к острову, населенному людоедами. В Мобиле в каком-то журнале — название я позабыл — я прочитал рассказ о человеке, который потерпел кораблекрушение и был съеден каннибалами. Но еще сильнее действовала на мое воображение книга «Моряк-отступник», которую я за два года до этого прочитал в Боготе. Это история про моряка. Его корабль во время войны взорвался на mine. Ему удалось доплыть до какого-то острова, и он провел сутки, питаясь дикими плодами, пока его не обнаружили каннибалы. Они бросили его в котел с кипящей водой и сварили живьем. Меня начали преследовать мысли об этом острове. Я уже не мог представить себе берег без каннибалов. Впервые за пять дней одиночества на море мой страх изменил направление: теперь я боялся не столько моря, сколько земли.

В полдень я лежал на борту точно погруженный в летаргический сон. От палящих лучей солнца, от голода и жажды я уже ни о чем не мог думать, утратил всякое чувство времени и направления. Попробовал встать, чтобы испытать свои силы, и увидел, что еле держусь на ногах.

«Конец», — подумал я. Мне показалось, что настало самое страшное из всего, о чем предупреждал нас инструктор: надо привязать себя к плоту. Когда не чувствуешь уже ни голода, ни жажды, не чувствуешь беспощадных укусов солнца на покрытой волдырями коже, не чувствуешь вообще ничего, остается последнее средство: развязать концы сетки и привязать ими себя к плоту. Во время войны было найдено много таких привязанных к плотам трупов, исклеванных птицами и разложившихся.

Но я решил, что у меня еще хватит сил дожидаться ночи, не привязывая себя к плоту.

Я опустился в середину плота, растянулся там, погрузившись по шею в воду, и пролежал так несколько часов. От соленой воды начало болеть раненое колено. И тут я будто очнулся: ощущение боли вернуло меня к действительности. Мало-помалу прохлада воды возвращала силы. Вдруг я почувствовал сильную резь в животе. Хотел стерпеть, но не смог. С большим трудом я встал, расстегнул ремень, спустил брюки... Я почувствовал большое облегчение. Это было в первый раз за пять дней, и в первый раз рыбы начали отчаянно биться о крепкую веревочную снасть, стараясь разорвать ее.

Вид рыб, таких близких и блестящих, возбуждал во мне голод. Первые меня охватило настоящее отчаянье. Но сейчас у меня, по крайней мере, была приманка. Я позабыл о своей слабости, схватил весло и приготовился. Я решил вложить последние силы в один точный удар и оглушить какую-нибудь из рыб. Не помню, сколько раз я ударил веслом. Я чувствовал, что попадаю, но каждый раз напрасно пытался разглядеть жертву. Около меня шло жуткое пищество рыб, пожиравших друг друга. Хватая свою долю в бурлящей воде, скользила кверху брюхом акула...

Заметив акулу, я отказался от своей затеи, бросил весло и, потеряв надежду на успех, растянулся на борту. Но прошло всего несколько минут, и меня охватила неистовая радость: над плотом летали семь чаек.

Для голодного моряка, одино-

ко дрейфующего среди пустыни моря, чайки — весточка надежды. Обычно корабли провожает целая стая чаек, но только до второго дня плавания. Семь чаек над плотом — верный знак близости земли. Тут бы взяться за весла, но я едва мог простоять на ногах несколько минут. В полном убеждении, что я приближаюсь к земле, что до нее остается не более двух дней плавания, я зачерпнул рукой и попил еще немного морской воды, и снова лег лицом вверх, чтобы солнце не жгло спину. Я не накрыв лицо рубашкой — хотелось смотреть на чаек. Они летели в форме острого угла не спеша в сторону севера. Был второй час пополудни пятого дня моего плавания...

Я не заметил, как она появилась. Время приближалось к пяти, и я собирался спуститься в середину плота до появления акул. Тогда-то я и увидел маленькую чайку. Летая вокруг плота, она то и дело садилась ненадолго на другой конец борта. Рот наполнился холодной слюной. Мне нечем было поймать эту чайку. У меня ничего не было, кроме рук и хитрости, обостренной голодом. Остальные чайки исчезли, и осталась только эта маленькая, с блестящим оперением кофейного цвета. Она прыгала по борту.

Я лежал совершенно неподвижно. Мне казалось, что моего плеча касается плавник акулы, которая с пяти часов наверняка уже на своем месте. Но я решил рискнуть. Я не смел даже следить за полетом чайки, чтобы она не заметила движения моей головы. Она пролетела совсем низ-

ко надо мной. Я видел, как она удалилась и исчезла в небе. Но я не терял надежды. Я не думал о том, что мне придется ее растерзать. Знал только одно: я голоден, и если буду лежать совершенно неподвижно, то рано или поздно чайка приблизится к моей руке.

Я ждал, кажется, более получаса. Несколько раз она прилетала и вновь улетала. Был момент, когда я почувствовал близ своей головы рывок акулы, заглатывающей свою жертву. Но вместо страха я лишь острее ощутил голод. Чайка прыгала по борту. Это был пятый вечер моего дрейфа. Пять дней без еды! Я страшно волновался, казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, но когда я почувствовал, что чайка приближается, я остался лежать неподвижно, как мертвый. Я лежал на широком борту, и я уверен, что в течение полчаса не посмел даже моргнуть. Небо сияло, и было больно смотреть на него, но напряжение все росло, и я не решился закрыть глаза: чайка начала клевать мой ботинок. Прошло еще полчаса напряженного ожидания, прежде чем я почувствовал, что чайка забралась мне на ногу, а потом слабо клюнула раз-другой мои брюки. Я продолжал лежать в совершенной неподвижности, и тут она вдруг сильно клюнула меня в раненое колено. Я чуть вздрогнул от боли, но сдержался. Потом она двинулась по правому бедру и остановилась в пяти-шести сантиметрах от моей руки. Тогда я прервал дыхание и как можно незаметней с отчаянным напряжением стал подвигать к ней свою руку...



ОТЧАЯННЫЕ ПОПЫТКИ УТОЛИТЬ ГОЛОД

Если лечь посреди площади в надежде поймать чайку, можно пролежать там всю жизнь и ничего не поймать. Но совсем другое дело — в сотне километров от берега. У чаек инстинкт самосохранения обострен лишь на земле, в открытом море эти птицы очень доверчивы. Я лежал так тихо, что маленькая игривая чайка, которая уже забралась мне на ногу, решила, наверное, что я мертв. Я видел ее на своем бедре, она клевала меня через брюки, не причиняя никакой боли, и я все ближе подвигал свою руку. Чайка заметила опасность и хотела улететь, но я резким движением схватил ее за крыло и прыгнул в середину плота в полной решимости немедленно съесть ее. Когда я терпеливо ждал, чтобы она села мне на ногу, я был абсолютно уверен, что, если удастся поймать чайку, я съем ее живьем вместе с перьями. Уже одно представление о крови этой птицы возбуждало жажду. Но теперь, когда я держал ее в руках, когда почувствовал, как бьется ее теплое тело, посмотрел в ее круглые и блестящие глаза, меня охватило сомнение.

Как-то я стоял на палубе с карабином в руках, думая подстрелить одну из чаек, летавших над кораблем. Один из офицеров, бывалый моряк, сказал мне: «Не будь жестоким. Видеть чайку для моряка все равно что видеть землю. Недостойно моряка убивать чаек». И хотя в течение пяти дней я ничего не ел, слова эти по-прежнему, смущая меня, звучали в моих ушах. Но голод оказался сильнее. Я взял птицу за голову и, как курице, начал скручивать ей шею. Она оказалась совсем хрупкой: шейные позвонки захрустели при первом моем движении, а потом я ощутил на пальцах теплую, живую кровь. Мне было жаль ее. Я чувствовал себя убийцей. Голова, еще трепещущая, осталась у меня на ладони. Струя крови окрасила воду внутри плота и раздражила рыб. Белое, блестящее брюхо акулы мелькнуло рядом с плотом. В таких случаях обезумевшая от запаха крови акула способна перекусить стальную пластину. Челюсти акулы расположены снизу, и ей нужно перевернуться, чтобы проглотить добычу, но так как она близко-

рука и очень прожорлива, то, атакуя сверху брюхом, сметает все, что попадает на ее пути. Мне сдается, что в этот раз акула хотела напасть на плот. Испугавшись, я бросил ей маленькую, не больше яйца, голову чайки; громадные рыбы за бортом немедленно вступили из-за нее в бой не на жизнь, а на смерть.

Прежде всего я принялась ошипывать чайку. Тело ее было очень нежным, а кости — такими хрупкими, что можно было сломать их пальцами. Я старался выдергивать перья как можно осторожней, но они плотно сидели в нежной белой коже, так что вырывал их я вместе с мясом. Темная и липкая плоть вызывала отвращение. Легко рассуждать, что после пятидневного голода можно съесть что угодно, но, как бы ты ни был голоден, мешанина из перьев и теплой крови, остро пахнущая рыбой, может вызвать тошноту. Пока я ее ошипывал, она совсем расплзлась. Я прополоскал птицу внутри плота и резким движением вскрыл ее. От одного вида розовых и синеватых внутренностей меня передернуло. Я сунул в рот продолговатый кусочек мяса, но так и не решился проглотить его: мне казалось, что я жую лягушку. Я не сумел преодолеть отвращения, выплюнул все, что было во рту, и долго сидел неподвижно с этим сгустком разорванного мяса и окровавленных перьев в руке. Я мог бы использовать мясо чайки как приманку для ловли рыб, но у меня не было никакой снасти. Была бы хоть булавка или кусок проволоки! Но не было ничего, кроме ключей, часов, золотого кольца и трех проспектов из мобильного магазина. Я подумал о ремне, попытался сделать из пряжки что-то вроде крючка, но все мои усилия оказались напрасными. Невозможно сделать из ремня рыболовную снасть. Начинало смеркаться, и рыбы, почуяв кровь, прыгали вокруг плота. Когда совсем стемнело, я выбросил остатки убитой чайки за борт, прилег на весло и приготовился умереть.

Я действительно мог умереть в ту ночь от истощения и отчаяния. Поднялся сильный ветер. Плот опять подбрасывало на волнах, а я, даже не подумав о том, чтобы привязать себя к сетке, лежал на днище, и только моя голова и согнутые колени высывались из воды. Но после полудня наступила перемена: появилась луна. Она показалась впер-

вые со времени катастрофы. В голубом свете луны море приобретает иной, более призрачный вид. В эту ночь Хайме Манхаррес не пришел ко мне. Я был один на дне плота, наедине со своей судьбой. Но почему-то всегда получалось так, что, когда надежда и воля к жизни покидали меня, обязательно происходило что-нибудь пробуждавшее во мне новую надежду. В ту ночь это был отблеск луны на волнах. Море выиграло, и в каждой волне мне чудились огни кораблей. Две последние ночи я совсем не думал о кораблях. Но в течение всей этой лунной ночи — моей шестой ночи на море — я вглядывался в горизонт почти с той же настойчивостью и надеждой, как и в первую ночь. Окажись я теперь снова в таком же положении, я умер бы от отчаяния; теперь-то я знаю, что там, где проплывал плот, корабли не появляются.

Я смутно помню утро шестого дня. Вспоминаю лишь как в тумане, что все утро пролежал на дне плота и был между жизнью и смертью. В такие минуты я всегда думал о родном доме и, как оказалось, довольно точно представлял себе жизнь родных без меня. Например, я совсем не удивился, когда узнал, что они отслужили по мне панихиду. Я как раз думал об этом в утро шестого дня. Я понимал, что им давно сообщили о моем исчезновении. Самолеты больше не появлялись, и это значило, что от дальнейших поисков отказались и объявили меня погибшим. И они были очень недалеко от истины. Я делал все, что мог, чтобы выжить, мне было достаточно самого ничтожного повода, чтобы воспрянуть духом и надеяться, но на шестой день надежда покинула меня. Я был трупом, плывущим на плоту.

К вечеру, вспомнив, что скоро появятся акулы, я решил сделать последнее усилие и встать, чтобы привязать себя к плоту. В Картахене два года назад я видел то, что осталось от человека, на которого напала акула. Мне не хотелось быть разорванным на части стаей этих хищных и прожорливых рыб.

Около пяти вечера пунктуально акулы уже шныряли вокруг плота. С огромным трудом я встал, чтобы попытаться развязать концы веревочной сетки. Дул

свежий ветер, море было спокой-
но. Я почувствовал себя немного
лучше. Вдруг я опять увидел тех
же самых семь чаек, и вновь
пробудилось во мне желание
жить. Голод мучил меня. В эту
минуту я бы съел все, что угод-
но. Но хуже всего было пересох-
шее горло и онемевшие до боли
челюсти. Надо было пожевать
что-то. Я подумал было о каучу-
ке моих ботинок, но отрезать его
было нечем. Тогда я вспомнил
о рекламных проспектах. Они ле-
жали в кармане брюк и почти
расползлись от воды. Я оторвал
клочок, сунул в рот, начал же-
вать, и... произошло чудо — рот
наполнился слюной, и боль в гор-
ле стала слабее. Я продолжал
медленно жевать. Вначале зало-
мил в челюстях, но потом, пере-
малывая зубами проспекты, слу-
чайно оставшиеся у меня, я ожи-
вился, почувствовал себя бодрее.
Я решил жевать их как можно
дольше, чтобы избавиться от боли
в челюстях. Мне показалось рас-
точительством выплюнуть в море
прожеванное. Кашица из жева-
ного картона медленно спустилась
в желудок, и с этой минуты мне

уже не казалось, что я должен
погибнуть, что меня разорвут
акулы.

Картонная кашица явно пошла
мне на пользу — моя мысль ли-
хорадочно заработала. Я стал
думать, что бы еще мне пожевать.
Будь у меня нож, я бы изрезал
на куски подошвы моих ботинок
и стал бы жевать их — самое
соблазнительное из всего, что бы-
ло у меня под рукой. С помощью
ключей я попробовал оторвать
чистую белую подошву, но из это-
го ничего не вышло. Я впился
зубами в ремень и кусал его до
боли в зубах, но не удалось ото-
рвать ни кусочка... Кусая ботин-
ки, ремень, рубашку, я, наверное,
выглядел зверем.

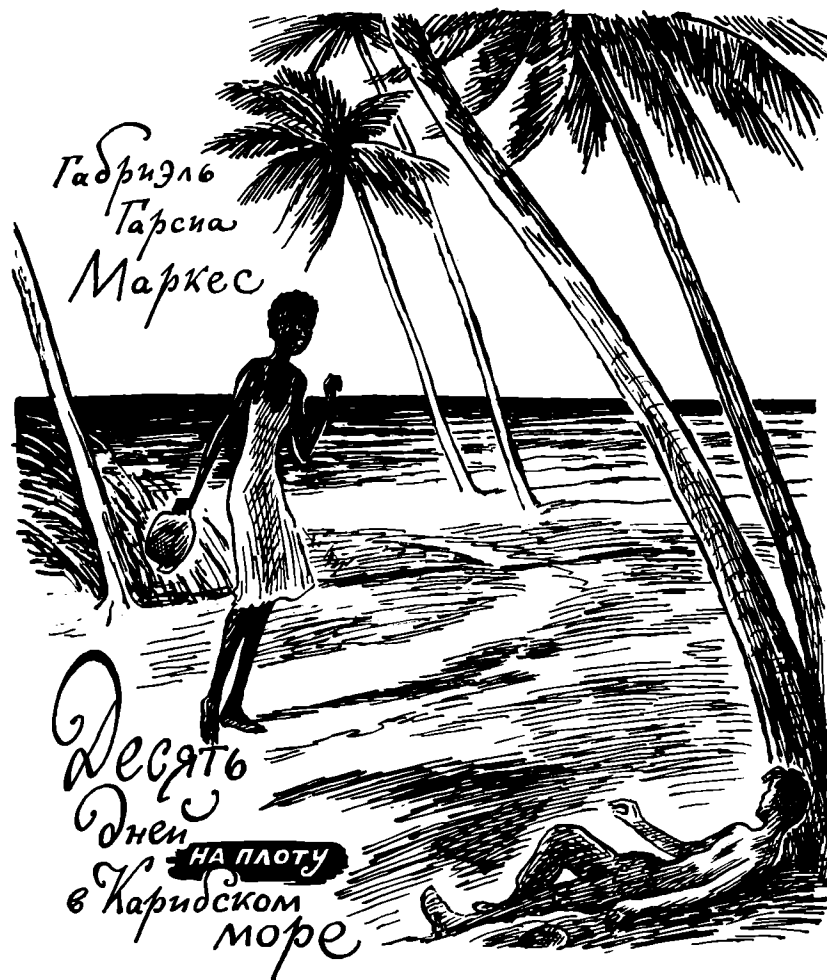
Когда стемнело, я снял с себя
мокрую одежду и остался в од-
них трусах. Не знаю отчего —
может, от съеденных prospec-
тов, — но я быстро заснул. То ли
привыкнув к превратностям жизни
на плоту, то ли от долгой бессон-
ницы, я спал в эту ночь глубоким
сном. Иногда удар волны будил
меня, мне казалось, что вода смы-
вает меня за борт, и я подскаки-

вал в испуге, но тут же засыпал
снова.

Наконец, наступило утро моего
седьмого дня в открытом море.
Почему-то я был уверен, что день
этот не последний. Море утихло,
но небо заволочило тучами. Когда
часам к восьми выглянуло солнце,
я чувствовал, что продолжитель-
ный сон влил в меня силы.
На фоне нависшего свинцового
неба летали семь чаек. Увидев их
в третий раз, я не обрадовался,
как прежде, а, наоборот, испу-
гался. «Это заблудившиеся чай-
ки», — подумал я с тоской. Мо-
ряки знают, что иногда стая чаек
может заблудиться среди моря и
кружить несколько дней над вол-
нами, пока не увидит корабль,
следуя за которым сможет вер-
нуться к земле. Быть может, все
три дня я в самом деле видел
одну и ту же заблудившуюся
стаю. Это означало бы, что с каж-
дым днем я удаляюсь от земли
все дальше и дальше.

Окончание следует

Перевел с испанского
ДИОНИСИО ГАРСИА



БОРЬБА С АКУЛАМИ ИЗ-ЗА РЫБЫ

Мысль о том, что в течение семи дней я не только не приблизился к земле, но все больше от нее удаляюсь, подорвала мою волю к сопротивлению. Но когда человек на краю гибели, у него всегда срабатывает инстинкт самосохранения. По разным причинам тот день — мой седьмой день на плоту — оказался непохожим на все другие дни. Море было спокойное и темное. Солнце не жгло мне кожу, а светило мягко и ласково, и теплый бриз слегка подталкивал плот и облегчал боль обожженного тела. Рыбы тоже стали совсем другими. Они с утра сопровождали плот и плавали у самой поверхности. Я видел их совершенно отчетливо, го-

лубых, бурых, красных, самых разных цветов, формы и величины. Плот мой плыл точно в аквариуме. Владевшее мною отчаяние почему-то уступило место душевному успокоению. У меня было чувство, что все переменялось, что море и небо перестали быть враждебными и что сопровождающие меня рыбы — мои старые добрые друзья.

В то утро я уже не надеялся увидеть землю. Я считал, что плот унесло далеко в сторону от морских путей, туда, где могут заблудиться даже чайки, и мне стало казаться, что я в конце концов могу привыкнуть к морю, к моему печальному существованию на плоту и смогу продолжать его без больших умственных усилий. Прожил же я, несмотря ни на что, целую неделю — так почему же мне не жить и дальше на своем плоту? Море

было чистое и спокойное, а вокруг плавало столько соблазнительно красивых рыб, что, казалось, можно хватать их горстями. Акул нигде видно не было. Я смело сунул руку в воду и попытался схватить круглую, с синеватым отливом рыбу длиной не больше 20 сантиметров. Получилось так, будто я бросил в воду камень, — все до единой рыбы мгновенно ушли в глубину. Они исчезли в забурлившей воде, а потом одна за другой стали снова подниматься к поверхности. Чтобы поймать рукой рыбу, надо было действовать проворнее — рука под водой плохо слушалась, теряла силу. Наметив себе какую-нибудь из рыб, я хватал ее, но она выскальзывала из руки с быстротой, приводившей меня в замешательство. Я занимался ловлей довольно долго, ни о чем не тревожась и совсем не думая об акуле, которая, может быть, там, в глубине, ждет, пока я суну руку в воду по локоть, чтобы вмиг откусить ее. Так продолжалось до начала одиннадцатого. Рыбы пощипывали кончики моих пальцев, сначала слабо, как бывает, когда пробуют наживку, а потом все сильнее. Полуметровая рыба, гладкая и серебристая, с мелкими и острыми зубами разодрала мне кожу на большом пальце. Осматривая рану, я заметил, что и другие укусы были не совсем безобидными: на всех пальцах оказались маленькие кровоточающие ранки.

Не знаю, кровь ли мою они почувяли или что-нибудь еще привело их, но через минуту плот окружили акулы. Никогда я не видел такого множества акул, никогда еще не наблюдал таких ярких проявлений кровожадности этих хищников. Они прыгали, как дельфины, преследуя и заглатывая свои жертвы. Я сидел посередине плота и в ужасе смотрел на это побоище. Внезапно выпрыгнувшая из воды акула ударила мощным хвостом по воде, и плот, покачиваясь, утонул в белой пене. Что-то блеснуло молнией, я инстинктивно схватил весло и приготовился ударить: я решил, что ко мне на плот прыгнула акула. Но я тут же увидел торчащий за бортом акулий плавник и понял, что в середину плота, преследуемая акулой, прыгнула блестящая зеленоватая рыба сантиметров в пятьдесят длиной. Собрав все свои силы, я ударил ее веслом по голове. Оказалось, что не так-то

просто убить такую рыбу внутри плота. От удара плот закачался, и я чуть не свалился за борт. Минута была решительная: если я стану безудержно махать веслом, я могу упасть в воду, кишащую голодными акулами. Но медлить было тоже нельзя: рыба могла выпрыгнуть из плота. Я был между жизнью и смертью: мог отправиться в пасть акуле или же получить два килограмма свежей рыбы и утолить семидневный голод. Я прижался к борту, ударил во второй раз и почувствовал, как весло проломило голову рыбы. Плот закачался, под ним засуетились акулы, но я плотно прижался к борту. Рыба была еще живая и в последнем предсмертном рывке могла прыгнуть очень далеко. Одним движением я съехал на дно плота — там я мог зажать рыбу между ног или, если понадобится, вцепиться в нее зубами. Стараясь не промахнуться, зная, что от этого зависит моя жизнь, я собрав все свои силы, опустил весло. Рыба осталась неподвижной, а воду окрасила струйка темной крови. Я почувствовал запах крови, но его почувяли и акулы. И вот, сжимая в руках двухкилограммовую рыбу, я затрясся от страха: акулы таранили плот. С минуты на минуту плот мог перевернуться, и тогда три ряда зубов, которыми усажена

каждая челюсть акулы, моментально растерзали бы меня. И все же голос желудка оказался сильнее страха. Зажав рыбу между ног, я после каждого толчка старался как мог приводить плот в равновесие. Так продолжалось несколько минут. Время от времени я выплескивал окровавленную воду за борт. Постепенно вода внутри плота очистилась, и акулы успокоились. Но надо было быть начеку: из воды более чем на метр торчал акулий спинной плавник невиданных размеров. Я никогда не видел ничего подобного. Акула вела себя мирно, я знал, что если она почует кровь, то перевернет плот одним ударом хвоста. С большими предосторожностями я принялся вскрывать свою добычу.

Полуметровая рыба защищена броней из крепкой чешуи. Снять ее мне было нечем. Попробовал ключами, но не смог отделить даже одной чешуйки. Я никогда прежде не видел такой рыбы. Она была ярко-зеленого цвета, с очень плотной чешуей. Зеленый цвет с детства ассоциировался у меня с ядовитостью. Может показаться невероятным, но, несмотря на то, что в предвидении куска свежей рыбы желудок мой начал болезненно сокращаться, я остановился в нерешительности при мысли, что эта необычная рыба может оказаться ядовитой.



Если нет никакой надежды получить пищу, голод, оказывает, еще терпим. Но никогда голод так не мучил меня, как в тот раз, когда я сидел на днище плота и пытался разодрать ключами зеленое, блестящее тело рыбы. Скоро я понял, что надо действовать энергичнее. Я встал, наступил на рыбу ногой и сунул угол весла ей под жабры... Рыба все еще была жива, я снова ударил ее по голове. Потом попытался сорвать прикрывающий жабры твердый панцирь, и я уже не знал, чья кровь течет по моим рукам, рыба или моя собственная: кожа на пальцах была ободрана до мяса.

Кровь снова встревожила акул, и я, чувствуя отвращение к окровавленной рыбе, опять, как это ни странно, был близок к тому, чтобы бросить ее акулам, как поступил с маленькой чайкой. Меня удручало мое бессилие. Осмотрев рыбу со всех сторон, я наконец нашел лазейку под жабрами, просунул туда палец и извлек внутренности. Как у всех рыб, внутренности у нее были дряблые и пустые. Говорят, что, если плывущую акулу сильно дернуть за хвост, желудок и кишечник вывалятся у нее из пасти. В Картахене я видел подвешенных за хвост акул, из пасти которых свисал темный слизистый мешок внутренностей.

Я легко выпотрошил пальцем свою рыбу. Это была самка: среди кишок я увидел гирлянды икринок. Закончив эту операцию, я впился зубами в брюшину. Прогрызть чешуйчатый покров было трудно. Я сжал зубы до боли в челюстях, и только тогда удалось оторвать первый кусок. Я начал жевать холодное жесткое мясо. Мне всегда был противен запах сырой рыбы, но вкус ее оказался еще противнее. Но уже первый кусок принес мне облегчение. Я вырвал зубами новый. За минуту до этого я думал, что способен съесть целую акулу, но уже после второго куска почувствовал себя сытым. Мой страшный семидневный голод был утолен в одну минуту. Ко мне вернулись силы. Теперь я знаю, что сырая рыба утоляет жажду — раньше я этого не знал. Но факт был несомненный: я утолил не только голод, но и жажду. Довольный и ободренный, я подумал, что если два куска полуметровой рыбы смогли насытить меня, то теперь я обеспечен питанием на много дней. Я решил за-

вернуть ее в рубашку и оставить в воде, чтобы подольше сохранить ее свежей, но сначала решил промыть ее. Я окунул рыбу в воду за бортом. В чешуе запеклась кровь, и надо было хорошенько прополоскать рыбу и протереть ее. Я снова без всяких предосторожностей окунул ее в воду и тут же почувствовал рывок акулы и скрежет ее челюстей. Я крепко сжал рыбу в руках; хищник дернул, я потерял равновесие и ударился о борт, но не отпустил свою рыбу. Я тоже пришел в ярость. Совсем не думая о том, что акула может схватить выше и откусить мне руку по локоть, я изо всех сил дернул рыбу к себе, но в руках уже ничего не было — акула унесла мою добычу. Вне себя от злости и отчаянья, я схватил весло и, когда акула вновь подплыла к плоту, ударил ее по голове. Акула выпрыгнула, перевернулась в воздухе и, сухо шелкнув челюстями, перекусила конец весла и проглотила его. В бешенстве я продолжал бить по воде сломанным веслом...

ЦВЕТ ВОДЫ МЕНЯЕТСЯ

Время приближалось к пяти вечера. Через несколько минут должно было появиться множество акул...

Вечер был такой же, как и в другие дни, но наступившая ночь оказалась темней обычного. Море взволновалось. Собирался дождь. Думая, что скоро у меня будет питьевая вода, я снял рубашку и ботинки, чтобы было, во что набрать ее.

К девяти часам подул холодный ветер. Я попытался спрятаться от него, опустившись в середину плота, но это не помогло: холод пронизывал меня до костей. Пришлось снова надеть рубашку и ботинки. Волны вздымались выше, чем 28 февраля, в день катастрофы. Плот опять бросало, как скорлупку, в темном бурлящем море. Спать я, конечно, не мог. Погрузился в воду по шею, потому что воздух становился все холодней. Я весь дрожал, мне показалось, что я не выдержу такого холода, и, чтобы согреться, я начал делать гимнастические упражнения. Но оказалось, что я слишком слаб для этого. Я как мог цеплялся за борт, чтобы не свалиться в море. Голову я положил на сломанное весло, два других весла лежали на дне плота.

Незадолго до полуночи ветер

усилился, небо стало плотным и почти черным. Воздух стал влажным, но не упало ни одной капли. В начале первого ночи огромная волна, такая же, как та, что смыла все с палубы эсминца, подбросила плот, точно банановую кожуру, и мгновенно перевернула его. И опять, как и в тот день, я очнулся уже в воде, лихорадочно выгребая кверху. Выплыв на поверхность, я чуть не умер от ужаса: плота нигде не было видно. Я увидел над собой лишь громадные черные волны и на мгновенье вспомнил Луиса Ренхифо, сильного человека и хорошего пловца, который так и не смог догнать плот, хотя был от него всего в трех метрах. Однако я просто смотрел не в ту сторону. Пустой плот покачивался на волнах позади меня, совсем рядом. Я повернулся, догнал его в два взмаха. Два взмаха — дело двух секунд, но это были страшные секунды. Я был до того испуган, что через мгновенье уже лежал на дне плота. Сердце бешено стучало в груди, и я задышался.

Я не мог пожаловаться на свою судьбу. Если бы плот перевернулся в пять часов вечера, меня бы разорвали на части акулы, но в двенадцать ночи хищники мирно плавают в глубине, особенно если море спокойно.

Когда я пришел в себя, я увидел, что держу в руках сломанное весло. Все случилось неожиданно, и мои движения были совершенно инстинктивными. Я вспомнил, что, падая в море, ударился о весло головой и схватил его, когда уходил под воду. Другие два весла остались за бортом. Чтобы не потерять обломок последнего весла, я привязал его к сетке одним из свободных концов. На этот раз мне повезло, я спасся, но море продолжало бешевать, и плот мог перевернуться снова. Думая об этом, я расстегнул ремень и привязал себя к сетке.

Ветер не утихал. Плот метался по вспененному морю, но теперь я чувствовал себя в безопасности. О весле я тоже не беспокоился. Следя за тем, чтобы плот не перевернулся, я вспомнил, что, если бы холод не заставил меня надеть рубашку и ботинки, я потерял бы их вместе с двумя веслами. Что такой плот, как мой, перевернулся в бурном море, было вполне естественно. Он сделан из пробки и обтянут тканью, окрашенной

в белый цвет. Днище прикреплено к пробковой раме не наглухо: оно висит на сетке, образуя корзину. Сколько бы плот ни переворачивался, днище всегда принимает одно и то же нормальное положение. Единственная опасность — потерять плот, но теперь я был привязан к нему и считал, что могу быть спокоен. Однако кое-чего я не учел. Прошло пятнадцать минут — и плот перевернулся еще раз. Сначала я взлетел высоко и оказался в шквале холодного и влажного ветра. Я увидел глубокую впадину и понял, в какую сторону сейчас перевернется плот. Я рванулся было к другому борту, чтобы выровнять его, но ничего не вышло: слишком крепко я был привязан. В следующую секунду плот перевернулся, и я оказался под ним. Я задышался, и мои руки судорожно искали пряжку ремня, чтобы поскорее расстегнуть ее. Времени у меня было мало. В хорошем физическом состоянии я могу продержаться под водой больше восьмидесяти секунд. С момента, когда я оказался под плотом, прошло не меньше пяти секунд. Пошарив вокруг пояса, я нашел ремень. Затем пряжку — она находилась у самой сетки. Надо было подтянуться одной рукой, чтобы ослабить натяжение. Я не сразу нашел, за что ухватиться покрепче, а когда нашел, подтянулся левой рукой, а правая отстегнула пряжку. Я почувствовал себя свободным. Высунув руку из воды, я ухватился за верхний край борта и стал подтягиваться. Я не успел вдохнуть воздуха, как плот снова перевернулся, теперь уже с моей помощью. Я глотал воду; горло, истерзанное жаждой, мучительно горело, но я не обращал на это внимания: главное было не отпустить плот. Наконец мне удалось высунуть голову из воды и глотнуть свежего воздуха. Я был в полном изнеможении. Не верилось, что хватит сил взобраться на плот. Но в то же время страшно было оставаться там, где еще недавно плавали акулы. Я внушил себе, что это будет последним сверхусилием, которое потребует в моей жизни, подтянулся обеими руками и свалился в середину плота. Трудно сказать, сколько времени пролежал я без движения, страдая от острой боли в глотке и в стертых до крови концах пальцев. Помню, у меня было две заботы: дать легким отдохнуть и не дать плоту вновь перевернуться.

Наступил рассвет моего вось-

мого дня на море. Утро было ненастное. Если бы пошел дождь и у меня не хватило бы сил собрать воду, то, по крайней мере, он освежил бы меня. Но хотя воздух был насыщен влагой, так ни капли и не выпало. Море успокоилось только в девятом часу. Выглянуло солнце, и небо вновь стало ярко-синим.

Чувствуя себя совершенно истощенным, я выпил несколько глотков морской воды. Я прибегал к этому только тогда, когда боль в глотке становилась невыносимой. После семи дней ощущение жажды меняется: чувствуешь глубокую боль в горле и в груди, особенно под ключицами, и еще мучает удушье. Морская вода облегчала боль.

После ненастья море становится синим, как на картинках. У берега тихо покачиваются на волнах вырванные с корнем деревья. Над морем появляются чайки. В то утро, когда ветер утих, поверхность моря сделалась гладкой, как полированный металл, и плот мягко скользил по воде. Теплый воздух укрепил мое тело и мой дух.

Старая чайка, большая и темная, пролетела над плотом. Тогда у меня не осталось никакого сомнения, что земля уже близко. Ведь тяжелая старая чайка не залетит далеко от земли. Во мне снова пробудилась надежда. Я стал, как в первые дни, вглядываться в горизонт. Отовсюду летели чайки, их было очень много. Это обрадовало меня. Теперь у меня были спутники. Голод пропал. Я чаще прежнего стал пить по одному глотку морскую воду. Видя чаек над головой, я забывал о своем одиночестве. Я вспомнил о Мэри Эддрес. «Где она теперь?» — спрашивал я себя. Как раз в тот день, когда я безо всякой видимой причины вспомнил о Мэри Эддрес (может быть, потому, что летали чайки), она, оказывается, была в католической церкви и закладывала молебен за упокой моей души. Как она потом писала, молебен читали именно на восьмой день после моего исчезновения. За упокой моей души... Думаю, что и за покой моего тела, потому что в тот день, когда вспомнил о Мэри, а она была в церкви Мобила, я чувствовал себя счастливым среди моря, глядя на чаек — вестников земли.

Почти весь день я просидел на борту, наблюдая за горизонтом.

День был необыкновенно ясным. Я был уверен, что смогу увидеть землю на большом расстоянии. Плот скользил по воде очень быстро: думаю, что даже двое гребцов с четырьмя веслами не смогли бы придать ему такую скорость.

После семи дней плавания на плоту человек может заметить самое незначительное изменение цвета воды. Седьмого марта в 3 часа 30 минут дня плот вошел в иную область моря: вода из синей становилась темно-зеленой. В одном месте я даже увидел границу: по одну сторону поверхность моря была синей, как в течение всех дней до этого; по другую сторону — зеленой и как бы более плотной. Небо было усеяно чайками, низко пролетавшими надо мной. Я слышал шум от взмахов их сильных крыльев. Все это были первые признаки. Я подумал, что в предстоящую ночь придется не спать, чтобы вовремя заметить береговые огни.

НАДЕЖДЫ УТРАЧЕНЫ...

Старая чайка села на плот в девять вечера и оставалась на нем всю ночь. Я лежал спиной на сломанном весле — единственном, которое у меня осталось. Ночь была спокойная, и плот двигался по прямой в неизвестном направлении. «Куда его прибьет?» — спрашивал я себя в полной уверенности, что на следующий день, судя по всем признакам, я достигну земли.

Я не был уверен, что плот сохранил первоначальное направление...

Около полуночи, когда меня стал одолевать сон, старая чайка подошла и начала клевать меня в голову. Клевала она совсем не больно, не причиняя голове никакого вреда, лишь слегка прикасаясь к ней. Я вспомнил слова бывшего моряка и почувствовал угрызения совести: напрасно я убил маленькую чайку.

Я наблюдал за горизонтом до самого рассвета. Ночь была теплой. Я так и не увидел ни единого огонька, никаких признаков земли. Когда я лежал неподвижно, чайка, казалось, засыпала. Я опускал голову на грудь, и она тоже переставала двигаться, но стоило мне пошевелиться, как она подпрыгивала на месте и опять начинала клевать меня в голову.

На рассвете я переменял положение. Теперь чайка оказалась у меня в ногах, и я почувствовал, как она клюет мои ботинки. Потом она пошла по борту к моей голове. Я не двигался. Чайка тоже остановилась, а потом пошла дальше и приблизилась вплотную к моей голове. И снова, как только я пошевелился, она почти с нежностью стала клевать меня в волосы. Это было похоже на игру. Я несколько раз менял свое положение на плоту, и чайка вновь и вновь подходила к моей голове. На рассвете я уже без всяких предосторожностей протянул руку и схватил чайку за шею.

Я не собирался убивать ее — это значило бы зря погубить вторую чайку. Я был голоден, но мне бы в голову не пришло утолить свой голод этим дружелюбно настроенным существом, прошедшим рядом со мной всю ночь и не сделавшим мне ничего дурного. Когда я схватил ее, она расправила крылья и шумно хлопала ими, пытаясь освободиться. Я сложил ей крылья сверху, чтобы она перестала дергаться, тогда она выпрямила шею, и в первых лучах нового утра я увидел ее глаза, прозрачные и испуганные. Если бы я и собирался растерзать ее, то, увидев ее большие печальные глаза, все равно отказался бы от такого намерения.

Скоро поднялось солнце, такое палящее, что воздух накалился уже с самого раннего утра. Я все лежал с чайкой в руках. Море оставалось таким же густо-зеленым, как накануне, но нигде не было никаких признаков берега. Воздух стал горячим и душным. Я отпустил свою пленницу. Она трянула головой, стремительно взмыла вверх и через какие-то секунды была уже в стае.

Солнце в то утро — мое девятое утро на плоту — жгло, как никогда прежде. Я все время старался уберечь спину от лучей, и все же она была вся в волдырях. Я убрал весло, на которое опирался, и погрузился в воду: я не мог уже прикасаться спиной к древесине. Плечи и руки тоже были в ожогах, я не мог до них дотронуться — собственные пальцы казались мне раскаленными углями. Глаза тоже сильно воспалились, и я не мог смотреть в одну точку: небо сразу же покрывалось ослепительно яркими кругами. До этого я особенно не задумывался о состоянии, до которого я дошел, а ведь я был изувечен, почти разрушен морской

водой и палящими лучами солнца. С руки я легко снимал целые ленты кожи. Поверхность тела под кожей была красная, глянцевиная. Через некоторое время оголенное место начинало болезненно пульсировать и сквозь поры сочилась кровь.

Я забыл также о своей щетине. Не брился я уже одиннадцать дней. От малейшего прикосновения к густой щетине кожа лица, раздраженная солнцем, начинала страшно болеть. Я осморгнул свое тело, покрытое ожогами, представил себе, как исхудало мое лицо, и вспомнил, сколько пришлось мне перестрадать за эти дни одиночества и отчаянья. Вновь мною овладело уныние. Наступил полдень, и я потерял надежду достигнуть земли. Я знал: как бы скоро ни двигался плот, он все равно не достигнет земли раньше наступления ночи, если еще не стало видно береговой полосы.

Радость, которую я испытывал последние двенадцать часов, бесследно исчезла за какую-нибудь минуту. Силы покинули меня, и я на все махнул рукой. Впервые за девять дней я лег на борт ничком и, уже не испытывая никакой жалости к своему телу, подставил лучам солнца обожженную спину. Я знал, что если буду лежать так, то еще до наступления вечера неминуемо погибну.

Наступает момент, когда уже перестаешь чувствовать боль, перестаете чувствовать жар, и ты теряешь всякое представление о том, что с тобой происходит. Когда я лег вниз лицом, положив голову на руки, то вначале я еще ощущал беспощадные укусы солнца. В течение нескольких часов смотрел я в пространство, заполненное светящимися точками, а потом закрыл глаза в изнеможении. Я уже не чувствовал жар солнца на теле, не ощущал ни голода, ни жажды — ничего, кроме состояния полного безразличия к жизни и смерти. Я подумал, что умираю, и мысль эта наполнила меня странной, темной надеждой.

Когда я открыл глаза, то увидел себя в Мобиле. Стояла нестерпимая жара, и я пошел погулять в компании еврея Массея Нассера (продавца магазина, у которого всегда покупали одежду моряки) и приятелей с эсминца. Массей Нассер и дал мне те перспективы...

В течение восьми месяцев, пока корабль стоял на ремонте, Массей Нассер уделял особое внимание колумбийским морякам, и мы

в знак благодарности покупали только у него. Он хорошо говорил по-испански, хотя, как он сказал, никогда не бывал ни в одной латиноамериканской стране...

И вот сейчас, как во всякую субботу, мы были в загородном кафе на вольном воздухе, куда ходили только евреи и колумбийские моряки. На деревянном помосте танцевала все та же девушка. Она обнажила живот, а голову покрыла газовой вуалью на манер арабских танцовщиц из кинофильмов. Мы пили пиво и хлопали в ладоши. Массей Нассер веселился больше всех.

Трудно сказать, сколько времени длилось это видение, но помню, что внезапно я вздрогнул, увидев метрах в пяти от плота огромную желтую черепаху с пятнистой головой и немигающими, лишенными выражения глазами, похожими на два больших стеклянных шара; взгляд этих глаз ledenил душу. Я думал, что это новая галлюцинация, и, охваченный ужасом, сел на борт. Как только я задвигался, чудовище (от головы до хвоста в нем было не менее четырех метров) погрузилось в воду, оставив на поверхности пенный след. Я не знал, действительно это или видение, я и по сей день не уверен, что все это было в действительности, хотя смотрел на гигантскую черепаху несколько минут. Она плавала, высунув из воды свою кошмарную пятнистую голову, и стояло бы ей только коснуться плота, как он тут же перевернулся бы.

Это ужасное видение вновь пробудило во мне страх, и страх придавал мне новые силы. Я взял обломок весла и приготовился к схватке с этим или любым другим чудовищем, которое попытается перевернуть плот. Было около пяти часов дня, и акулы, как всегда в это время, уже выплывали из глубины моря на поверхность. Я посмотрел на черточки, которыми отмечал дни, и насчитал восемь. Вспомнил, что надо отметить еще один день, и процарапал ключом черту, в уверенности, что это уже последняя. Я не находил себе места от ярости и отчаянья: умереть оказалось не менее трудным делом, чем выжить. Утром, выбирая между жизнью и смертью, я выбрал смерть — и все-таки я был жив и держал в руках обломок весла, готовый отстаивать свою жизнь, к которой, казалось, меня уже ничто не привязывало.

Когда под лучами солнца, ка-

завшегося металлическим, я дошел до пределов отчаянья, когда жажда стала действительно невыносимой, случилось невероятное: в сети плота запутался какой-то корень красного цвета, похожий на те, что толкут в Бояка, чтобы получить краску, — их название я позабыл. Не знаю, как он там оказался, — за девять дней я ни разу не видел на поверхности моря ничего растительного. И все же корень был тут, в сетке плота, и служил еще одним доказательством близости земли.

Он был около тридцати сантиметров длиной. Голодный, но уже неспособный думать даже о голоде, я стал вяло жевать этот корень. У него был вкус крови. Маслянистый и сладковатый сок освежал горло. Я подумал, что таким может быть вкус яда, но продолжал совать в рот и пережевывать этот красный корень, пока от него ничего не осталось.

Можно пробыть в море сколько угодно, хоть год, но в конце концов наступает день, когда невозможно больше выдержать и часа. За день до этого я верил, что рассвет застанет меня на твердой земле, но прошло двадцать четыре часа, а вокруг по-прежнему простирались только вода и небо. Я уже ничего не жал. Приближалась моя девятая ночь на море. «Девять ночей покойника», — подумал я, зная, что в это самое время мой дом в Боготе полон друзей: была последняя ночь бедня у алтаря покойника. Назавтра алтарь будет разобран, и все начнут понемногу привыкать к моей смерти. Меня никогда не покидала смутная надежда, что кто-нибудь, вспомнив обо мне, попытается найти меня и спасти; но, когда я понял, что для семьи это девятая ночь моей смерти, я почувствовал себя окончательно покинутым и подумал, что в таком случае лучше всего мне умереть. Я лег на днище плота и хотел громко сказать: «Я уже не встану!», но голос угас в пересохшем горле.

Я вспомнил колледж, потом поднес к губам медальон с Карменской божьей матерью и стал читать про себя молитву, представляя себе, как в этот самый час молятся дома. И я почувствовал облегчение, потому что решил, что я умираю.

НОВАЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ — ЗЕМЛЯ

Моя девятая ночь оказалась самой длинной. Я лежал посредине

плота, волны лениво ударялись о борт, но сам я уже не был хозяином своих чувств: с каждым ударом волны я вновь переживал случившееся. Говорят, что умирающие переживают за мгновения всю свою жизнь, — нечто подобное было и со мной в ту последнюю ночь. Я снова плыл на эсминце, лежал на корме рядом с Рамоном Эррерой среди ящиков с холодильниками, радиоприемниками, электропечами, видел Луиса Ренхифо на вахте 28 февраля и с каждым ударом волны снова чувствовал, как груз соскальзывает в море и я иду ко дну, а затем плыву вверх, к поверхности моря. Все мои девять дней одиночества, тоски, голода и жажды повторялись в сознании совершенно отчетливо, словно на киноленте. Сначала падение, потом крики товарищей вблизи плота, потом голод, жажда, и акулы, и воспоминания о Мобиле — все проходило передо мной в длинной веренище образов. Я делал все, чтобы не упасть за борт эсминца, старался покрепче привязать себя, чтобы меня не смыла волна, старался из последних сил, так, что ломило в запястьях и щиколотках; особенно острую боль чувствовал я в правом колене. Но крепко стянутые веревки не помогали: ударялая волна и смывала меня с палубы в пучину моря, и, когда я приходил в себя, оказывалось, что я снова, задыхаясь, плыву к поверхности.

За несколько дней до этого я думал привязать себя к плоту, настало время сделать это, но я не мог заставить себя встать и заняться этим нелегким делом. Учитывая, что я не осознавал положения, в котором оказался, нужно считать, что мне опять здорово повезло: я бы ничего не понял, если бы волна и вправду смыла меня за борт — реальность смешивалась для меня с галлюцинациями. Если бы плот перевернулся, я бы решил, что это новая галлюцинация, что я вновь переживаю падение с эсминца, как было не раз в течение этой ночи, и я бы пошел ко дну, в пасть акулам, которые так терпеливо ждали у борта все эти девять дней.

К утру подул холодный ветер. Меня лихорадило и знобило, холод пронизывал меня до костей. Я снова чувствовал боль в правом колене — морская соль высушила рану, но она была по-прежнему обнажена. С тех пор как она у меня появилась, я старался не тревожить ее, но в ту ночь я лежал

лицом вниз, упиравшись коленями в днище плота, и кровь в ране болезненно пульсировала. Теперь я могу сказать, что эта рана спасала мне жизнь. Как сквозь сон возникло во мне ощущение боли — и я вновь ощущал свое тело, чувствовал на горячем лице дуновение холодного ветра. Теперь вспоминаю, что в течение многих часов я бормотал что-то несвязное, говорил с приятелями, ел мороженое в компании Мэри Эддрес и где-то пронзительно звучала музыка.

Прошло, как мне казалось, бесконечно много времени, и я почувствовал, что голова у меня раскалывается, кровь сильно стучит в висках и болят кости. Правое колено вспухло, и было такое ощущение, будто оно раздулось и стало больше моего тела.

Когда начало светать, я пришел в себя и увидел, что я на плоту, но не знал, сколько времени пролежал в таком состоянии. С большим трудом я вспомнил, что нацарапал на борту всего 9 черточек, но никак не мог вспомнить, когда именно я нанес последнюю. Казалось, прошло очень много времени с того вечера, когда я съел красный корень, застрявший в сетке плота. Я еще ощущал во рту сладковатый вкус густого сока, но о корне помнил лишь очень смутно. Или это было во сне? Сколько дней прошло с тех пор? Я понимал, что светает, но не знал, сколько ночей пролежал на плоту в ожидании ускользающей от меня смерти. Небо стало красным, как на закате. Это тоже сбилось меня с толку, я уже не знал, не мог понять, светает или вечерет.

Раненое колено не давало покоя, и я попытался переменить положение — уперся руками в днище, подтянулся, положил голову на борт и перевернулся на спину. Я посмотрел на часы: было четыре часа утра. Каждый день в это время я начинал вглядываться в горизонт, но теперь уже надежды не было. Я смотрел на небо, видел, как оно меняет цвет — от ярко-красного к бледно-синему. Воздух еще не нагрелся. Я чувствовал жар во всем теле и острую, пронизывающую боль в колене. Меня мучила мысль о том, что я не смогу умереть, — я совсем обессилел, но был вполне живой и, сознавая это, еще острее переживал свою беспомощность. Я думал, что мне не пережить той ночи, а между тем все

оставалось по-прежнему: я был на плоту, и наступал день, еще один пустой день под нестерпимым солнцем, и с пяти часов вечера вокруг плота опять будут бродить акулы. Когда небо на восходе уже начинало голубеть, я посмотрел на горизонт. Всюду расстилалась спокойная зеленая гладь моря, но прямо перед собой я увидел в предзакатных сумерках длинную густую тень. В прозрачном небе четко вырисовывались силуэты кокосовых пальм.

Меня снова охватила досада. Днем раньше я увидел себя на гулянье в Мобиле, потом видел гигантскую желтую черепаху, а ночью побывал в родном доме в Боготе, в колледже Ла Салль и в компании своих приятелей с эсминца; теперь я видел перед собой землю. Случись это четырем или пятью днями раньше, я бы обезумел от радости, бросил плот к черту и пустился в плавание, чтобы поскорее достигнуть берега, но теперь я знал, что мне следует остерегаться галлюцинаций. Пальмы виделись слишком уж отчетливо, и, кроме того, расстояние до них все время менялось. То казалось, что они совсем близко, то на расстоянии двух или трех километров. Поэтому я не радовался, поэтому отдался прежнему желанию поскорей умереть, чтобы не сойти от галлюцинаций с ума.

Я снова стал смотреть на небо. Теперь оно было высоким и чистым, темно-синего цвета. В четыре сорок пять засиял восход. Сначала я боялся ночи, теперь и солнце было враждебно мне. Оно казалось могущественным и жестоким врагом, который является, чтобы бичевать мое и без того изъязвленное тело, чтобы сводить меня с ума голодом и жаждой. Я проклял солнце, проклял день, проклял судьбу, которая позволила мне выдержать девять суток на плоту, а не доконала жаждой, не бросила в пасть акулам...

Мне опять захотелось переменить положение, и я решил взять обломок весла, чтоб опереться на него. Он был привязан к сетке, я отвязал его, пристроил поудобнее под обожженную спину, а голову положил на широкий борт; и тогда, в первых лучах восходящего солнца, я совершенно отчетливо увидел длинную темно-зеленую полосу берега. Время приближалось к пяти, и небо было совершенно светлым. Не мог-

ло быть никакого сомнения, что передо мной действительно земля. Все надежды первых дней на плоту, когда я радовался самолетам, огням кораблей, чайкам, цвету воды, разом возродились во мне при виде земли.

Если бы в это время я съел два яйца, кусок мяса, хлеб и кофе с молоком — полный завтрак на эсминце, — то не почувствовал бы такого прилива сил, какой почувствовал теперь при виде земли или того, что я считал землей. В одну секунду я вскочил на ноги. Передо мной была темная береговая полоса с силуэтами пальм. Огней видно не было, но справа, на расстоянии примерно десяти километров, на склоне скалистого берега играли первые лучи солнца. Охваченный безумной радостью, я взял обломок весла и попытался направить плот прямо к берегу.

Я прикинул, что до него должно быть около двух километров. Руки мои были в страшном состоянии, спина болела при малейшем движении, но не для того терпел я девять суток — и уже начинались десятые, — чтобы сдаться, когда передо мной наконец была земля. Я покрылся испариной, от утреннего холодного ветра домило в костях, но я все греб и греб.

Но это было не весло, особенно для такого плота, как мой, а кусок палки, который не годился бы даже на то, чтобы замечать им глубину. Радостное возбуждение неожиданно придало мне силы, и в первые минуты я сумел немного продвинуться вперед, но скоро почувствовал большую слабость, перестал грести, всмотрелся в пышную растительность на берегу и заметил, что параллельное берегу течение относит плот к скалам. Я сокрушался о потерянных веслах: достаточно было бы одного из них, чтобы противостоять течению. Я подумал, что придется дожидаться, пока плот приблизится к скалам. Они блеснули в первых лучах утреннего солнца, точно сложенные из стальных игл. Но я уже так отчаялся почувствовать твердую землю под ногами, что отбросил эту мечту как несбыточную. И хорошо сделал: потом я узнал, что это были скалы на Пунта-Карибана, и, отдаваясь течению, я бы неминуемо разбился о камни.

Я старался рассчитать свои силы. Предстояло проплыть два километра, чтобы достигнуть бе-

рега. В нормальном состоянии я могу проплыть два километра меньше чем за час, но я не знал, сколько смогу выдержать, если за десять суток съел только кусок рыбы и небольшой корень, а все мое тело в волдырях и колено ранено. Однако другого выхода у меня не было. Я не успел все обдумать, не успел вспомнить про акул — я оставил весло, закрыл глаза и бросился в воду.

Холодная вода взбудрила меня. Оказавшись у самой поверхности воды, я потерял из виду полосу берега. И только в воде я понял, что не догадался сделать две вещи: снять рубашку и зашнуровать ботинки. Надо было сделать это, держась на поверхности, прежде чем начать плыть. Я снял рубашку и обвязал ее вокруг пояса, затянул и завязал шнурки и тогда уже поплыл. Сначала торопливо, с нетерпением; потом спокойнее, чувствуя, как тают мои силы с каждым взмахом, и к тому же не видя больше земли.

Не успел я проплыть и пяти метров, как почувствовал, что оборвалась цепочка с образком Карменской божьей матери. Я остановился и успел подхватить его, когда она уже утонула в прозрачном водовороте. Положить его в карман не было времени, так что я сжал образок в зубах и поплыл дальше.

Силы мои иссякли, а берега все не было видно. Меня снова охватил ужас: а что, если береговая полоса мне привиделась? Прохлада воды вновь привела меня в чувство, и я, собрав последние силы, поплыл к призрачному берегу. Так или иначе, я отплыл слишком далеко, и вернуться к плоту было уже невозможно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ НА НЕЗНАКОМОЙ ЗЕМЛЕ

Только пятнадцать минут спустя я снова увидел землю. До нее было больше километра, зато теперь я уже не сомневался, что это земля, а не мираж. Солнце золотило кроны кокосовых пальм. На берегу не было видно никаких признаков человеческого жилья, но это была земля.

Не прошло и двадцати минут, как я поплыл, а силы мои почти иссякли. Но я чувствовал, что доплыву. Я плыл спокойно, не поддаваясь эмоциям, сохраняя над ними контроль. Половину своей жизни я провел на воде, но толь-

ко в то утро девятого марта я по-настоящему понял, что значит быть хорошим пловцом. Я продвигался вперед, и силуэты палм все четче вырисовывались на фоне неба.

Солнце уже висело над горизонтом, когда я подумал, что, пожалуй, смогу достать дно. Я сделал попытку, но оказалось, что еще глубоко. Стало ясно, что впереди нет песчаной отмели, что придется плыть к самому берегу. Не могу сказать, сколько времени я плыл. Солнце становилось все жарче, но теперь оно не жгло кожу, а приятно согревало тело. Проплыв первые метры в холодной воде, я опасался судорог, но потом быстро разогрелся. А потом вода стала теплее, и я, уже совсем задыхаясь, плыл как в тумане, но с такой целеустремленностью, которая была сильнее голода и жажды.

Я уже ясно различал густую листву, блестящую в мягких лучах утреннего солнца, когда во второй раз попробовал достать дно. Там, под подошвой моих ботинок, была твердая земля! Испытываешь очень странное ощущение, когда ступаешь на землю после десяти дней дрейфа.

Но скоро я понял, что самое трудное еще впереди: я был в полном изнеможении, едва держался на ногах, и волна прибой, откатываясь, тащила меня назад. Одежда и ботинки казались страшно тяжелыми, но даже в таком положении не утрачиваешь чувства стыда: я думал, что в любую минуту могут появиться люди, и потому не снял с себя одежду, которая мешала мне двигаться. Чувствуя себя на грани обморока, я продолжал бороться с волнами.

Вода была мне выше пояса. Ценой невероятных усилий я добрался до места, где вода доходила мне до коленей. Тогда я решил ползти, стал на четвереньки и пополз к берегу, но тщетно — волны отталкивали меня назад. Мелкий колючий песок растер рану на колене, я понял, что она начала кровоточить, но боли в тот момент не чувствовал. Кончики пальцев были ободраны до мяса, песок забивался под ногти, но я погрузил в него пальцы еще глубже и рванул вперед. Вдруг меня снова охватил страх: земля, позолоченные солнцем пальмы качались перед глазами, и мне показалось, что я стою на зыбучем песке, что меня заглатывает земля. Страх придал мне силы,

и я, преодолевая боль, не шадя ободранных, кровоточащих пальцев, продолжал ползти против волн. Десять минут спустя все пережитые страдания, десятидневные голод и жажда дали себя знать — и, чуть живой, я упал на твердую и теплую землю и долго лежал, ни о чем не думая, никого не благословляя, даже не радуясь тому, что благодаря воле, надежде, неистребимому желанию жить я наконец нашел спасение на неведомом тихом берегу.

Оказавшись на земле, прежде всего ощущаешь тишину. Спустя некоторое время начинаешь слышать отдаленный печальный ропот волн и уже вслед за ним, услышав шум ветра в пальмовых ветвях, начинаешь наконец понимать, что ты на суше, что ты спасен, хоть и лежишь неизвестно где.

Придя в себя, я начал оглядывать все вокруг. Место казалось диким. Глаза мои инстинктивно искали следы человеческого присутствия, и метрах в двадцати от себя я увидел изгородь из колючей проволоки. Рядом проходила узкая и извилистая дорога со следами копыт, вдоль которой была разбросана скорлупа кокосовых орехов. Эти доказательства присутствия человека вызвали во мне безграничную радость. Я уронил голову на песок и стал ждать.

Понемногу силы возвращались ко мне. Был седьмой час, и солнце поднималось все выше над горизонтом. У дороги среди скорлупы я заметил несколько целых орехов. Я подполз к ним, прислонился к стволу пальмы и сжал между коленей круглый гладкий орех. Как и пять дней назад, когда поймал рыбу, я жадно искал в орехе места, через которые можно было бы добраться до содержимого. Поворачивая плод в руках, я слышал внутри плеск жидкости. Этот приглушенный звук еще сильнее возбуждал жажду. За десять дней, проведенных в море, у меня ни разу не было чувства, что я схожу с ума; но теперь, когда я вертел в руках кокосовый орех и слышал плеск свежего, чистого, недоступного сока, я ощутил себя на грани помешательства.

В кокосовом орехе, в верхней его части, есть три глаза, расположенные в форме треугольника, но для того, чтобы пробу-

рывать их, нужно мачете. У меня же были только мои ключи. Я несколько раз пытался пробить ключами плотную шероховатую скорлупу. Наконец я сдался, отшвырнул орех в сторону и снова услышал, как заплескался сок.

Моей последней надеждой оставалась дорога. Скорлупа разбитых орехов говорила о том, что кто-то приходит сюда срывая их с деревьев. Это означало, что жилье где-то близко, потому что никто не станет ходить слишком далеко за тяжелыми кокосовыми орехами.

Я думал об этом, прислонившись к стволу пальмы, когда вдруг услышал далекий собачий лай. Я насторожился. Послышалось звяканье металла. Звуки доносились со стороны дороги, и они приближались.

Это была молодая, невероятно худая негритянка, одетая в белое. Она несла алюминиевую кастрюльку, и крышка мерно позвякивала в такт ее шагам. «В какой я стране?» — подумал я, глядя на приближающуюся женщину, похожую на негритянку с Ямайки. Я подумал о Сан-Андресе и Providencias, обо всех Антильских островах. Судьба послала мне первый благоприятный случай, но он мог оказаться и последним. «Понимает ли она по-испански?» — подумал я, стараясь угадать что-нибудь по ее лицу. Она шлепала по дороге своими пыльными туфлями, ничего не замечая. Я очень боялся упустить этот случай, и от волнения у меня родилась абсурдная мысль, что, если я заговорю по-испански, она меня не поймет и, бросив на произвол судьбы, оставит лежать тут, на краю дороги. — Хэлло, хэлло! — умоляюще проговорил я.

Девушка повернула ко мне голову, и ее большие глаза раскрылись от испуга еще шире.

— Help me!¹ — крикнул я в полной уверенности, что она меня понимает.

Заколебавшись, она огляделась вокруг и, испуганная, пустилась бежать по дороге.

Я думал, что умру от горя. На мгновение я увидел себя мертвым и растерзанным кондорами. Но тут я услышал собачий лай. Он приближался. Сердце мое забилось сильнее, я уперся руками в землю и поднял голову. Я ждал. Прошла минута, еще минута. Лай раздавался все ближе,

¹ «Помоги мне!» (англ.).

но вдруг все смолкло, и я уже не слышал ничего, кроме шума прибоя и шелеста листьев на верхушках кокосовых пальм. Наконец, когда истекла самая длинная минута в моей жизни, появился тощий пес, а за ним осел с двумя корзинами. Следом шел бледнолицый белый мужчина в соломенной шляпе; брюки его были подвернуты выше коленей, за спиной у него висел карабин.

Выйдя из-за поворота и увидев меня, он остановился в изумлении. Собака, подняв хвост палкой, подошла и обнюхала меня. Незнакомец молча, не двигаясь, стоял на месте; потом он снял с плеча карабин, поставил его прикладом на землю и застыл, по-прежнему не сводя с меня глаз.

Не знаю почему, но я думал, что могу находиться где угодно, только не в Колумбии. Не вполне уверенный, что он поймет меня, я решил все же заговорить по-испански.

— Сеньор, помогите мне! — сказал я.

Человек не ответил, а продолжал рассматривать меня, не мигая; взгляд его был непроницаем. «Не хватает только, чтобы он пристрелил меня», — равнодушно подумал я. Собака лизала

мне лицо, но у меня не было сил отогнать ее.

— Помогите же мне! — повторил я умоляюще, уже теряя надежду, что он поймет меня.

— Что с вами? — спросил он участливо.

Как только я услышал его голос, я сразу понял, что не меньше голода, жажды и отчаянья меня мучило желание рассказать кому-нибудь все, что со мной случилось. От возбуждения давясь словами, я выпалил:

— Я Луис Алехандро Беласко, один из моряков с эсминца «Кальдас», упавших в море 28 февраля.

Я был уверен, что все должны знать об этом. Думал, что, как только я назову свое имя, этот человек бросится помогать мне. Но он даже не пошевелился. Он по-прежнему смотрел на меня, ничуть не беспокоясь о собаке, которая лизала теперь мое раненое колено.

— Вы кур возите? — спросил он, решив, вероятно, что я с какого-нибудь каботажного судна, торгующего птицей и свиньями.

— Нет, я военный моряк.

Только тогда незнакомец начал двигаться. Он закинул карабин за спину, сдвинул шляпу к затылку и сказал:

— Я отвезу на пристань эту проволоку и вернусь за вами.

Я испугался, что еще одна возможность спасения от меня ускользнет.

— Вы обязательно вернетесь? — спросил я встревоженно.

Он ответил, что вернется. Сказал, что вернется непременно. А потом дружелюбно улыбнулся мне и погнал осла, продолжая свой путь. Собака осталась со мной и все обнюхивала меня. И только когда человек был уже довольно далеко, я догадался спросить и почти прокричал ему вслепую:

— Что это за страна?

И он с необыкновенной простотой и естественностью дал ответ, который я меньше всего ожидал услышать:

— Колумбия.

ШЕСТЬСОТ ЧЕЛОВЕК ПРОВОЖАЮТ МЕНЯ В САН-ХУАН

Как и обещал, он вернулся. Я не успел еще начать беспокоиться (прошло не больше пятнадцати минут), он уже возвращался со своим ослом, корзины на спине которого были теперь пустыми, в сопровождении негритянки с алюминиевой кастрюлей. Она, как я узнал потом, была его женой. Все это время собака не отходила от меня. Она перестала обнюхивать меня и лизать мои раны и лежала рядом в полудреме, пока не увидела приближающегося осла; тогда она вскочила и замахала хвостом.

— Идти сможете? — спросил незнакомец.

— Попробую, — сказал я и попытался встать, но тут же свалился.

— Не сможете, — сказал мужчина, подхватывая меня.

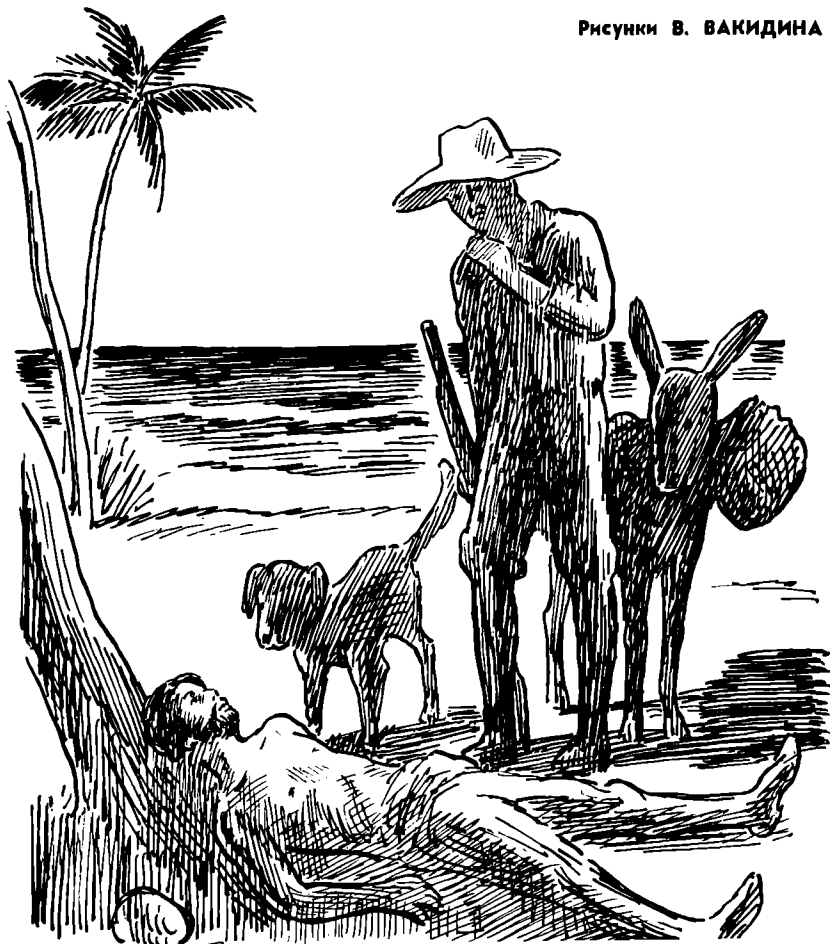
Они с женой посадили меня на осла, стали по бокам, держа меня под руки, и мы тронулись в путь. Собака радостно прыгала впереди.

Вдоль всей дороги росли кокосовые пальмы. В море я терпел жажду, но теперь, двигаясь по извилистой тропе, окаймленной пальмами, я больше не мог выдержать ни минуты. Я попросил дать мне кокосового сока.

— Я не взял с собой мачете, — сказал он мне.

Но сказал он неправду: мачете висело у него на поясе. Позже я узнал, почему он отказал мне. Оказывается, он съездил в соседнее селение, которое на-

Рисунки В. ВАКИДИНА



ходило в двух километрах от места, где я лежал, и поговорил с людьми, и те сказали, что мне нельзя ничего давать, пока врач меня не осмотрит. А ближайший врач был в двух днях пути отсюда, в Сан-Хуане-де-Ураба.

Через полчаса мы пришли к дому — деревянному строению с железной крышей, стоявшему у дороги. Там были еще трое мужчин и две женщины. Все вместе они сняли меня с осла, отнесли в комнату и уложили на постель. Одна из женщин пошла на кухню, принесла кастрюлю кипятка, заваренного корицей, и села у постели, чтобы попить меня из ложки. После первого глотка мне страшно захотелось еще, но уже после второго я успокоился, и тогда мне захотелось рассказать все, что со мной случилось.

Никто из них ничего об этом не знал. Я хотел рассказать им все по порядку, чтобы они узнали, как я спасся. Я считал почему-то, что в каком бы месте на земле я ни очутился, там все уже будет знать о катастрофе, и был раздосадован, когда понял, что ошибался. Женщина между тем поила меня из ложки, как больного ребенка.

Несколько раз я принимался рассказывать. Четверо мужчин и две другие женщины невозмутимо стояли у моей постели и смотрели на меня. Это напоминало какую-то торжественную церемонию. Если бы не чувство радости от сознания того, что я спасся от акул, от бесчисленных опасностей моря, подстерегавших меня в течение десяти дней, я бы подумал, что вокруг меня существует другая планета.

Женщина, которая меня поила, была, несомненно, очень доброй. Как только я принимался рассказывать, она говорила мне:

— Молчите пока, потом расскажете.

В то время я бы съел все, что попало мне под руку. Из кухни до меня доходил ароматный пар готовящегося завтрака, но все мои просьбы были напрасны:

— Когда врач осмотрит, мы вас накормим.

Но врач так и не пришел. Каждые десять минут мне давали по несколько ложек сладкой воды. Младшая из женщин, совсем еще девочка, мягкой тканью, смоченной в теплой воде, промыла мои раны. Время шло, и с каждым часом я чувствовал себя все луч-

ше. Я видел, что меня окружают друзья. Если бы они вместо того, чтобы поить меня сладкой водой, сразу накормили меня, организм мой этого не выдержал бы.

Человеска, который нашел меня на дороге, звали Дамасо Имитела. В тот же день в десять часов утра он отправился в ближайшее селение Мулатос и вернулся с несколькими полицейскими. Они тоже ничего не знали о случившемся: газеты туда не доходят. В одном магазине есть электрогенератор, и на его энергии работают холодильник и радиоприемник, но там не слушают известия. Как я потом узнал, когда Дамасо Имитела рассказал инспектору полиции о том, что нашел меня на берегу и что я с эсминца «Кальдас», то пустили электрогенератор, включили приемник и весь день слушали известия из Картахены. Но о катастрофе уже не говорилось, и только с наступлением ночи диктор кратко упомянул о случившемся. Тогда инспектор полиции, все полицейские и шестьдесят человек жителей Мулатоса отправились в путь, чтобы оказать мне помощь. В начале первого ночи они наводнили дом и своими криками прервали мой первый спокойный сон за последние 12 дней.

Казалось, все жители Мулатоса, мужчины, женщины и дети, пришли, чтобы посмотреть на меня. Так я впервые встретился с толпой любопытных; в последующие дни такие толпы окружали меня повсюду. Многие принесли с собой керосиновые лампы и карманные фонарики. Поднимая меня с постели, инспектор полиции и его многочисленные помощники разодрали мне обожженную кожу. Они устроили настоящую свалку.

Было очень душно. Я задыхался, окруженный толпой благожелателей. Когда меня вынесли на улицу, я был ослеплен светом множества ламп и карманных фонариков, светивших мне прямо в лицо. В гуле человеческих голосов выделялся голос инспектора, отдававшего приказания. Конца моим странствиям все еще не было видно. С тех пор как упал с эсминца, я непрерывно двигался в неизвестном направлении, и в это утро продолжал двигаться, по-прежнему не зная куда, не представляя себе, что со мной собирается сделать эта заботливая толпа.

Дорога до Мулатоса оказалась длинной и трудной. Меня уложили на гамак, прикрепленный к двум длинным жердям, и восемь человек — по два на каждом конце жердей — понесли по узкой извилистой дороге, освещаемой светом ламп. Мы шли под открытым небом, а от света ламп было жарко, как в запертой комнате. Восемь человек менялись через каждые полчаса. Мне в это время давали по несколько глотков воды и кусочки содового печенья. Хотелось знать, куда меня несут, что собираются со мной сделать, но вокруг говорили все разом, и понять что-либо было невозможно. Не говорил один я: инспектор полиции, руководивший людьми, запретил подходить ко мне и задавать вопросы. До моих ушей доносились крики, приказания, обрывки фраз. Когда мы пошли по длинной улице Мулатоса, полицейские уже не могли удерживать толпу, рвавшуюся ко мне. Было около восьми часов утра.

Мулатос — рыбацкое поселение, в котором нет телеграфа. Ближайший городок — Сан-Хуан-де-Ураба. Туда два раза в неделю прилетает из Монтеррии небольшой самолет. Когда мы вошли в поселок, я подумал, что наконец мы пришли куда-то и хоть что-нибудь теперь для меня прояснится — может быть, я получу известия о родных. Но на самом деле в Мулатосе я был только на половине своего пути. Меня поместили в одном из домов селения, и все жители стали в очередь, чтобы посмотреть на меня. Я вспомнил о факире, которого за 50 сентаво я видел два года назад в Боготе. Чтобы увидеть его, надо было простоять несколько часов в длинной очереди, и когда наконец ты входил в комнату, где в стеклянной урне сидел факир, не хотелось уже никого и ничего видеть, а хотелось только поскорее выйти наружу, чтобы размять ноги и вдохнуть свежего воздуха.

Разница между факиром и мной была та, что факир жил под стеклянным колпаком и сидел без пищи девять суток; а я провёл без еды десять суток посреди моря да еще сутки, лежа в постели. Передо мной проходила нескончаемая вереница лиц — белых, черных. Духота была страшная. Я уже чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы отнестись ко всему этому с юмором, и подумал, что вполне

могли бы продавать у входа билеты и показывать меня за деньги.

В том же гамаке из Мулатоса меня потащили в Сан-Хуан-де-Ураба, но сопровождавшая толпа сильно выросла — теперь в ней было не менее 600 человек. Среди них женщины, дети и даже животные: некоторые ехали верхом на ослах. Но большинство шло пешком. Шли почти целый день. Окруженный таким множеством людей, которые по очереди несли меня, я чувствовал, как постепенно возвращаются ко мне силы. Думаю, что весь Мулатос забросил тогда свои дела. С раннего утра заработал электрогенератор, и из радиоприемника, включенного на полную мощность, зазвучала музыка. Было как на празднике. А я, виновник торжества, лежал на кровати, и все селение стало в очередь, чтобы увидеть меня; и те же самые люди длинным караваном, запрудившим извилистую дорогу, отправились проводить меня в Сан-Хуан-де-Ураба.

Всю дорогу мне очень хотелось есть и пить. Кусочки содового печенья, небольшие глотки воды подкрепили меня, но в то же время обострили голод и жажду. Наше вступление в Сан-Хуан-де-Ураба напомнило мне сельский праздник. Встретить нас вышли все жители этого живописного, овеяемого морским ветром городка. Власти заранее приняли меры, и полиции удалось сдерживать толпу, вышедшую на улицы, чтобы увидеть меня.

Таким был конец моего путешествия. Доктор Умберто Гомес, первый обследовавший меня врач, объявил мне радостную новость, но прежде осматрел меня, чтобы убедиться в том, что я смогу ее выдержать, и только потом, погладив меня по щеке, сказал с доброй улыбкой:

— Самолет ждет вас. Вы полетите в Картахену и там встретитесь с родными.

МОЯ ГЕРОИЗМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО Я НЕ ДАЛ СЕБЕ УМЕРЕТЬ

Никогда бы я не подумал, что человек может превратиться в героя только потому, что пробыл десять дней на плоту, терпя голод и жажду. А ведь ничего другого я не мог сделать. Если бы на плоту был запас пресной воды и галеты, компас и рыболовные снасти, я, наверное, то-

же был бы жив и здоров, как и теперь, но с одним различием: меня бы не считали героем. Таким образом, героизм в данном случае заключается лишь в том, что я не дал себе умереть от голода и жажды в течение десяти дней.

Я не прилагал никаких усилий к тому, чтобы стать героем, — я думал только о том, чтобы спастись. Но так как мое спасение само по себе оказалось окруженным ореолом славы, то получилось нечто вроде торта с сюрпризом, и мне не осталось ничего, кроме как принять свое спасение вместе со своим героизмом.

Меня спрашивают, как чувствую себя герой. Я не знаю, что на это ответить. Сам я чувствую себя таким же, как прежде. Ни внутренне, ни внешне я не изменился. Ожоги от солнца уже не болят, рана на колене зажила. Я тот же самый Алехандро Беласко, и это ничуть меня не огорчает.

Кто изменился, так это люди вокруг меня. Мои друзья любят меня больше прежнего. Наверно, и враги мои ненавидят меня еще сильнее, чем прежде, хотя не думаю, чтобы у меня были враги. Когда на улице меня узнают, то начинают рассматривать как дикого животного; и поэтому я решил ходить в штатском до тех пор, пока люди не позабудут, что я пробыл десять суток на плоту, лишенный воды и пищи.

Когда становишься известным, то прежде всего создается впечатление, что днем и ночью всем и каждому хочется, чтобы ты говорил о себе. Я понял это еще в военно-морском госпитале Картахены, где ко мне приставили часового, чтобы никто не мог со мной говорить. Через три дня я уже чувствовал себя хорошо, но мне по-прежнему не разрешали выходить на улицу. Я уже знал, что, когда меня выпустят, придется без конца рассказывать всем свою историю. Часовые говорили мне, что в Картахену понаехало множество репортеров со всех концов страны, чтобы брать у меня интервью и фотографировать меня. Один из них, с двадцатисантиметровыми усами, сделал пятьдесят снимков, но ему так и не позволили расспрашивать меня о моих приключениях. Другой, превосходивший его отвагой, переоделся врачом, обманул часового и проник в мою палату. Он имел шумный и заслуженный успех, но ему при-

шлось нелегко. Вот как это было.

В мою палату могли входить только мой отец, часовые, врачи и санитары госпиталя. И вот однажды ко мне вошел врач, которого я никогда раньше не видел — очень молодой, в обычном белом халате, в очках и со стетоскопом на шее. Вошел он стремительно, не сказав ни слова. Унтер-офицер охраны растерянно посмотрел на него, затем потребовал удостоверение. Молодой врач обшарил все карманы и, слегка смутившись, сказал, что позабыл взять с собой документы. Тогда унтер-офицер заявил ему, что говорить со мной он не сможет без специального разрешения директора больницы. Оба пошли к директору. Через пятнадцать минут они вернулись.

Первым вошел унтер-офицер и сообщил, что врачу дали разрешение осматривать меня в течение пятнадцати минут.

— Это психиатр из Боготы, но мне кажется, что он переодетый репортер, — добавил унтер-офицер.

— Почему? — спросил я.

— Потому что он очень испуган. А потом, психиатры не пользуются стетоскопом.

Тем не менее он беседовал с директором госпиталя в течение десяти минут, прибегая к сложным медицинским терминам, и они пришли к соглашению.

Не знаю, повлиял ли на меня разговор с унтер-офицером, но, когда молодой врач вошел в палату, он уже не казался мне врачом. И репортером тоже не казался: до этого я никогда не встречался с репортерами. Он был похож на переодетого священника. Он как будто не знал, с чего начать; на самом же деле он просто искал способа удалиться из комнаты унтер-офицера.

— Будьте добры, — обратился он к нему, — достаньте где-нибудь лист бумаги.

Он, наверно, полагал, что унтер-офицер пойдет за бумагой в контору. Но был приказ ни в коем случае не оставлять меня одного, так что унтер-офицер только выглянул в коридор и крикнул:

— Принесите-ка поскорей писчей бумаги!

Моментально появилась бумага. Прошло уже более пяти минут, а врач все еще не задал ни одного вопроса. Получив бумагу, он приступил к обследованию: дал мне лист и попросил нарисо-

вать корабль. Я нарисовал. Потом он попросил подписать рисунок. Я сделал и это. Затем он попросил нарисовать загородный дом. Я как можно лучше нарисовал дом и цветущий банан рядом. Он попросил подписаться, и тогда я окончательно убедился в том, что это переодетый репортер. Но он продолжал играть роль врача.

Когда я кончил рисование, он взял рисунки, посмотрел на них, сказал что-то и стал задавать мне вопросы относительно моего приключения. Дежурный напомнил ему, что задавать мне такие вопросы запрещено. Тогда он начал осматривать меня, как это делают обыкновенные врачи. Руки у него были ледяные. Если бы дежурный потрогал их, он бы тут же выбросил его из комнаты. Но я ничего не сказал: нервозность этого человека и то, что это в самом деле мог быть переодетый репортер, очень располагали меня к нему. Пятнадцать минут еще не истекли, когда он, забрав листы, бросился вон.

На следующий день поднялась страшная суматоха: рисунки со стрелочками и надписями появились на первой полосе газеты «Эль тьемпо». «Вот где я стояла», — говорила надпись, и стрелочка указывала на мостик корабля. Они ошиблись: я стоял не на мостике, а на корме. Но рисунки были мои.

Этот случай открыл мне глаза на интерес, который газеты проявляли к моему десятидневному плаванию. Интерес этот разделяли все, и даже мои товарищи по команде потом не раз просили меня рассказать им всю историю. Когда я приехал в Боготу уже почти совсем выздоровевший, я понял, что в моей жизни произошла важная перемена. Меня встретили на аэродроме с почестями, президент республики поздравил меня с подвигом, представил к награде. Я узнал, что останусь служить на флоте, но буду повышен в звании.

...Кроме того, меня ожидало еще кое-что, о чем я и не подозревал: предложения торговых фирм. Я был очень доволен своими часами, которые шли точно все десять дней моей одиссеи, но мне не приходило в голову, что это может принести какую-то пользу часовой фирме; тем не менее она вручила мне пятьсот песо и новенькие часы. За то, что я употреблял определенный сорт жевательной резины и подтвердил это в одном объявлении, мне дали тысячу песо, а обувная фирма, ботинки которой я носил, дала мне за мое заявление две тысячи. За то, что я разрешил передать мою историю по радио, мне дали пять тысяч... Никогда бы не подумал, что прожить десять дней в море без еды и питья окажется таким выгодным

делом, но это так: на сегодняшний день я получил уже почти десять тысяч песо. Однако повторить свое приключение я бы не согласился и за миллион.

В моей жизни героя нет ничего примечательного. Я встаю в десять часов утра и отправляюсь в кафе поболтать с приятелями или же иду в какое-нибудь рекламное агентство, где на основе моих приключений готовят новое объявление. Почти ежедневно я хожу в кино, и не один, но имя спутницы называть не стану: пусть оно останется про запас.

Каждый день я получаю отовсюду письма. Пишут незнакомые мне люди. От Перейры, подписавшегося Х. В. С., я получил длинную поэму с многократными упоминаниями плотов и чаек. Мне часто пишет Мэри Эддрес, заказавшая молебен за упокой моей души в дни, когда я плыл на плоту.

Я рассказал свою историю по радио и телевидению, рассказывал ее своим друзьям и еще рассказал старушке вдове, у которой есть большой альбом с фотографиями и которая пригласила меня к себе в гости. Некоторые утверждают, что вся эта история — фантастический вымысел. Интересно, что в таком случае я делал все эти десять дней?

Перевел с испанского
ДИОНИСИО ГАРСИА

